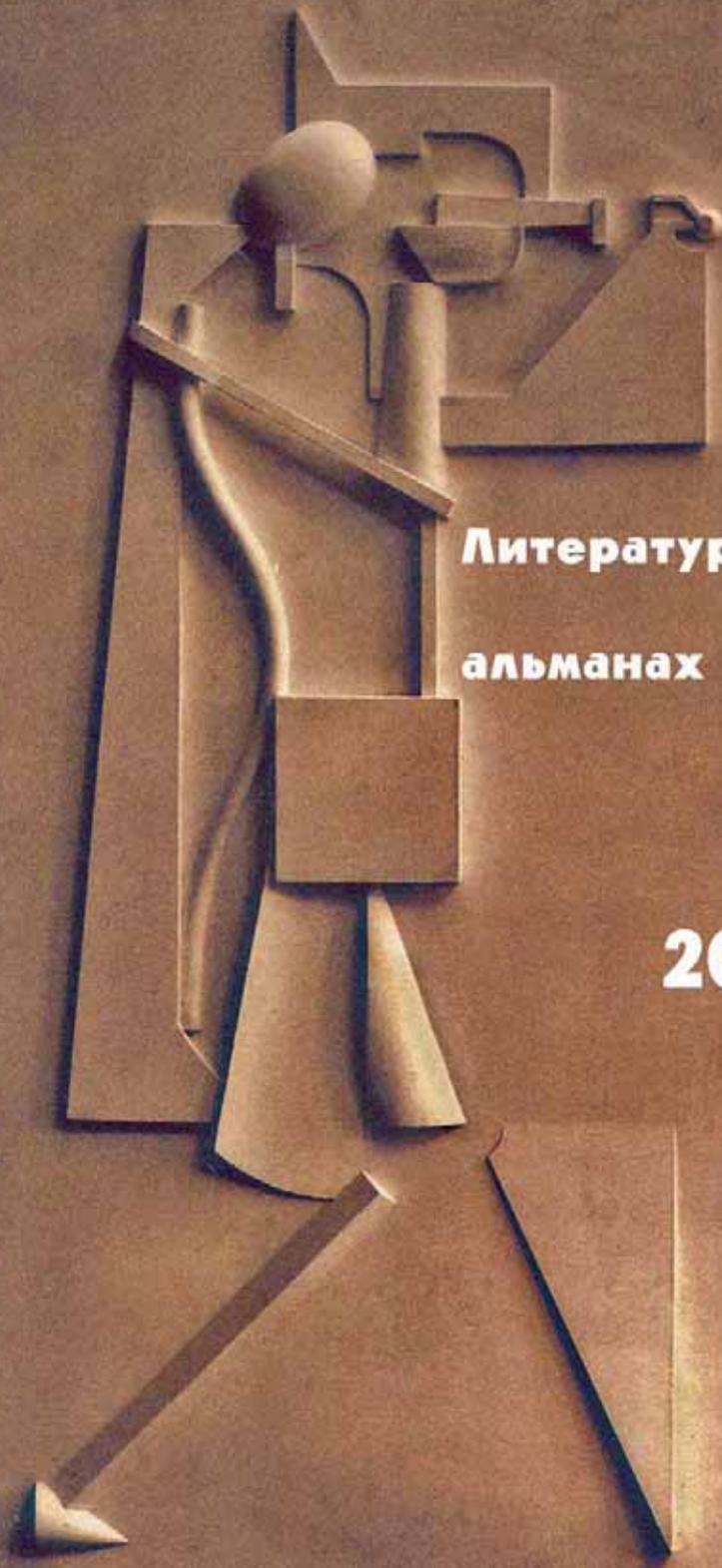


ДО И ПОСЛЕ



**Литературный
альманах 18**

2014

ДО И ПОСЛЕ

Литературный альманах

Д и П

№18

Берлин 2014

Редакционная коллегия:

ЛЕОНИД БЕРДИЧЕВСКИЙ
(главный редактор),
ГЕНРИЕТТА ЛЯХОВИЦКАЯ,
АНЖЕЛЛА ПОДОЛЬСКАЯ,
КАРЛ АБРАГАМ,
ДАВИД ЯНОВСКИЙ.

Компьютерная вёрстка
и оформление
Иосифа Малкиэля.

Альманах иллюстрирован
работами
И. М. Чайкова
(см. статью на странице 202)

ISBN 978 – 3 – 926652 – 30 – 5

*Произведения, представленные
на страницах Альманаха,
публикуются в Берлине впервые.*

*Рукописи не возвращаются
и не рецензируются,
права авторов сохранены.
При перепечатке ссылка
на Альманах обязательна.*

БЕРЛИН 2014



Der Klub der Literatur und Kunst bedankt
sich ganz herzlich beim Vorstand der
Jüdischen Gemeinde zu Berlin für die
Unterstützung bei der Herausgabe des
Literarischen Almanachs «Do i poße» № 18

ДО и ПОСЛЕ

Литературный
альманах №18



Елена Зельгер

МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

*«Марина – самый искренний русский
поэт. Первый поэт XX века».*

Иосиф Бродский.

1.

Если в городе рыцарь бронзовый есть,
Этот рыцарь – в твою честь.
О, умеешь стихом, как клинком ранить!
Каждый рыцарь – тебе память!

Друг мой, Рыцарь Души гневной.
Друг! – Подруга звучит тише.
Говорю всей своей половиной левой,
Там, где сердце. Меня слышишь?

Прочь доспехи – не время лицо прятать!
Плачь – не стыдно, тебе ведь больно!
Высока та цена за твою ПРЯМОСТЬ,
И спина на «равняйсь!» неволью.

2.

Я люблю Тебя заранее.
Я Тобой навыллет ранена.
Я люблю Тебя по-сестрински,
Сладкозвучную и звёздную.
Я люблю Тебя по-отчески,
Разноликую и грозную.

По-земному и по-ангельски
И по-бабьи, и по-мужески.
И на русском, и на ангельском
И до слёз люблю, и до тоски.
Я люблю Тебя заранее –
Я Тобой навылет ранена –
С каждой строчечкой всё более,
С каждой точечкой больше всё!

3.
Так хороша!
Зелёные глаза,
Античный нос,
Как можно не влюбиться?
Frisur «пажа»
И губы чуть дрожат –
Вот встанет,
Оживёт и оживится!
Двух крыльев распахнув
Тугой разлёт,
Из пепла возрождённая, поёт!
Поёт поэт! Не поэтесса, нет!
Поёт талантище, поёт Поэт!

4.
Я понимаю тебя.
Ты, многих любившая страстно,
Дрожью густой темноты,
В отсветах комнаты красных!...
И наполняюсь твоим
Вечным любви ожиданьем,
Обморочным осязаньем
Того, кто тобою любим.
Я понимаю тебя!

5.
Высока
так, что не дотронься!
Горяча –
 обжигает
 солн-цем!

Цельнокрой
из любви
и страсти.
Быть такой
необычной
масти
Нелегко, –
ты и не
искала:
где тепло,
где судьбы
лекало.
Те-ти-ва
и стрела! –
едины!
Что цена?
Ты неу-
молима.
Вздутость вен –
венченосность
духа!
От-кро-вен-
на до боли
слуха!
И честна,
и грешна,
ну что же –
Ты – ОДНА и ни с кем
не схожа!

6.

Марина... шум моря,
Мерцание ночи в воде...
Марина...Мария...
Иль это послышалось где?
Той тонкой душе никакая
Эпоха под стать.
Вся – вечность и млечность,
Как Книгу о Судьбах листать.
Листами – стихами

И раню себя, и лечу.
Марине на память
В душе зажигаю свечу.

7.
Можно шёпотом?
Тише, вóды стоячие!

Ты, которая плачет,
умудрённая опытом,
Знаешь, воротишься – встретимся!
Свыкнется-стерпится?

Нет! Нет терпения – боль!
Грудью бьюсь сквозь туманы,
Тайны и километры в карманы.
Ты, которая Боль!
Больше боли – Потеря!
Ты, которой я верю!
Ты – водой по дорогам кефали
Тебя догонишь едва ли...

Ты, которая, слушая – слышишь.
Севера – летом ищешь
Лета – зимой. Пишешь

Солнцу – сонеты кодами.
В холод – рыдаешь одами.
Планктоном клавиш
Себя травишь.

Залпом! Враз!
Жизни играешь джаз!

8.
Случай был бы – ВЕЗЕНЬЕ!
Повстречались случайно!
Было бы воскресенье,
Пасха, ручьёв журчанье.

Лики свято-пригожи
У случайных прохожих,
Строги и вертикальны
У прохожих пасхальных.
Взялись за руки б, крепко—
Мы б, друг друга узнали!
Мы б, друг другу сказали
Что-нибудь о печали,
О дне весенне-терпком.

Или переглянулись
Так лукаво-похоже,
А потом улыбнулись
Мы бы друг другу тоже.

Мы бы страстно дружили,
Мы бы дружно молчали,
Мы бы молча следили,
За волной у причала.

Ты бы, я бы... Но длинно,
Издалёка, прощально:
Имя твоё – Ма-ри-н-а-а-а...
Парусами печали.

Константин Кербель

ПЛУТОН

– Повезло тебе, ботаник, повезло – со злобой вполголоса повторял Антон, вбивая каблук ботинок в осыпавшийся гравий железнодорожной насыпи, опрокидываясь назад с неимоверно накрученным «станкачом»*, балансируя руками. В правой держал он пятилитровый бидон с топлёным маслом, левая оттягивалась эмалированным ведром, заполненным свежим мёдом. После второго перегона группа зашла на пасеку и отоварилась на сто пятьдесят рублей. Можно было обойтись бартером. Добродушный пасечник, с хитринкой в глазах, приставал к студенту обменяться на две «страховки», которые были у него перекинуты через грудь. Сейчас, прижатые рюкзаками, они по всей диагонали вдавливались в спину как два арматурных лома. У Ирмы Шокировны, секретаря факультета, всё на подотчёте, но избавиться от них сейчас было бы очень кстати. Они шли с Верой Николаевной Дубовик в голове растянувшихся девчонок. Замдекана, она была доброй и понимающей женщиной, за глаза её называли «Дубовичкой». Защита диссертации по спелеологии проходила в Башкирском университете. Продавив в ректорате «полевую» практику, она тащила третьекурстников к северному увалу, за которым простирался Киселёвский лог.

– Спортфак одноклеточный! Думают, если один на двадцать семь девок – везуха?! Пробанули бы сами! Злость не проходила. Замыкая девичник, он видел, как волнами, теряя равновесие, студентки плюхались на «пятую точку» и подобно бульдозеру толкали между ног обломочную породу. Песен не было слышно. Шутки, смех, разговоры – отошли. По склону взбирались, наклонив корпус вперёд. Злюка зашкаливала, когда они, цепляясь за стланик, припадали на колени. Поднимались и падали! Падали и поднимались! «Сколько сил попусту тратят! Нет, таких в связку брать нельзя!» – сделав окончательный вывод, он повеселел и успокоился.

Лог открылся пологим разломом, окружённый уступами. Спуск предполагался лёгкий, не более двух сотен метров. С плоской вершины увала отлично просатривался донный родничок, сдвинутый к западному склону. Обильное разнотравье обнимало его по всему руслу. Оно шуршало и шептало, дополняясь лёгким журчанием воды по каменистым уступам. По законам ярусности поднимались кустарники, сменяясь древостоем. В одном кусочке такая радость земли собралась! Увидишь один раз и запомнишь надолго!

Бивак разбили, стараясь минимально нарушить особенности урочища. Да где там! От палаток, стоящих полумесяцем к ручью, паутинками разбежались тропинки. Подпирая стойки и перетягивая «оттяжки» крыльев палаток, отзываясь на просьбы о помощи по пустякам, Антон не спеша снимал дёрн для костровища.

Откуда появился этот дедок, никто не заметил. Размахивая «литовкой» он успел подрезать крайние палатки. Визг и крики девчонок прервали работу. Перебрасывая «сапёрку» из рук в руку, защитник пошёл, пружиня ноги, готовясь к прыжку. Оттого, что появилась личность мужского пола или от решительности и блеска глаз, дед опустил косу.

– Ты что, старый, совсем из ума выжил?

– Пошто мой покос поградили? Пошто расположились по воле своей, сено луговое порушили?!

Руководительницы спешили к месту конфликта. Секретарша протянула Антону папку с документами.

– Вот, смотри, отец, – уже более спокойно произнёс спасатель, протягивая бланк Исполкома с разрешением на проведение практики в заказнике. Посмотрев и ничего не поняв, кроме круглой печати, старик выдавил: «Копиисты-канительщики, перебелили МОЮ еланьку! Ить на кого теперь пишкаться? Варнаки, безбожники! Сторожитесь ужо!»

Хитёр «киржак». Чиновников копировальщиками обозвал, да ещё жаловаться собрался. А то, что поляну в заказнике присвоил – молчок. Ещё грозит, старовер. Видно подкупил лесников такой подкосник получить.

– Да ладно, успокойся. Звать то тебя как? – совсем уже миролюбиво спросил студент.

– Жабрей Ефим, от Николина дня зимнего.

– А с года какого?

– В год хитников. Шалиганили с Гапоном до отца-батюшки с челобитною, ну и сойкнули посупорстники!

– Ну какие они грабители, просто пошли к царю с прошением. С ноль пятого, за семьдесят, а «литовкой» машешь по-батырски!

– Да мы привыкшие, чай все старатели-рудобои намятыши добрые.

Отказавшись от «балканки», дедок ловко свернул сигарку и запалил самосад.

– Один штоль на всех девок? Не дожидаясь ответа, продолжал:

– Ладные все и уже тако круто колесо, на месте не сидят. Аргуть девки!

– Не по твоим годам на них засматриваться.

– За погляд денегу не берут. Чего ж на женскую красоту глаз не заплялить. Сами-то, чаво раскочёвелись?

– Пещеры ищем.

– Дак чаво искать, изголяться. От «Свистун» валуна бродик метро-вый и аккурат по склону лазок. От гражданки в сохранности. Пацан-вой слышал обвал был, с тех пор и не сряжались.

– За подсказку спасибо. Подкосишь, когда мы съедем. Сено здесь духманное, точно колдовское!

Растянувшись пластуном, Антон проталкивал своё тело в лаз, скользя лицом по сметанообразной жиже. Каска упиралась в свод. Через восемь метров дневной свет не пробивался. Включил аккумулятор. Прополз на коленях, потом поднялся во весь рост. Двое неуклюже пробивались за ним. Изюмова Галка, огненно рыжая, крепко сбитая там, где положено женщине. Глаза открытые, весёлые. Зубы белые, крупные. Губы пухлые, чувственные, как на заказ сработанные. Подбивалась ещё с первого курса, даже поцелуи требовала. Сдержался «морпех». Свою заветную, пусть и не рядом, держал крепко. Под гитару часто вместе выводили. Голос грудной, бархатный, сам помогал ему в переборе струн. Так и прозвал её «Повидлой» и за собой первой брал. Розка Мустафина ползла замыкающей. Пацанка-татарочка, вся как ивовый прутик, была смелой до бесстрашия. Гордо-своенравная, выносливая, часто резко-грубая, но мужчине подчинялась беспрекословно.

Обвал прошли по «шкуродёру». В одном месте Антона переломило двумя валунами. Перебросив аккумулятор на грудь – протиснулся. Как «Повидла» прошла этот «зуборез», при её шикарных бёдрах, осталось загадкой. Роза прошмыгнула белочкой и только два угольно-чёрных глаза светились удивлением. Было от чего! На десяток метров простирался грот. По центру – спокойная, зеленовато-жёлтая вода – озерцо. В свете фонаря, стайки изумрудно-бирюзовых, с палевыми краплениями, рыбок кружились ураганным вихрем.

А вокруг! Великолепие натёчного убранства подземного царства. На полу, стенах и своде – необычайные каменные образования, будто

выполненные рукой искусного ювелира. Сверху «росли» сталактиты, а снизу, как бы протягивая к ним руки, тянулись сталагмиты. Молочно-белые, прозрачные, с чуть бледными оттенками светлорозовых тонов. Толщина их небольшая и от этого создавалось впечатление лёгкости и изящества. Они поднимались в виде волшебных палочек, причудливых подсвечников, конусообразных столбиков. По бокам свода сросшиеся сталактиты образовали колышущиеся занавески и бахрому.

Вся эта красота подсыпана кальцитовыми пизалитами. Пещерный жемчуг. Необыкновенные цветы, ежевидные конкреции, каменные розы, круглые, овальные, матовые с шероховатой или гладкой поверхностью. Химический состав этой фантастики такой же, как у обычного жемчуга. Кальцитовая кора, особенно на наклонных участках, образовала каскадные наросты. Именно она сцементировала глыбовые осыпи после обвала и придала им устойчивость.

«Так, подвижки и камнепады исключаются», – мысленно отметил про себя Антон. Берега обрамлялись белым известковым тестом. «Мондмилх, – опять отметила память. – Вода просачивается по трещинам сверху. Выделяется углекислота. Карбонат кальция выпадает в осадок! Всё просто и понятно, кроме одного, вода! Простая вода, а что натворила!» Девочки шёпотом восторгались этим неиссякающим и вечно обновляющимся искусством природы.

Затянув гидрокостюм, дембельский подарок старпома, Антон двинулся, перебирая руками сводчатую крышу. Глубина была чуть больше метра. Видно, когда-то подземный сток забился кальцитами и сейчас подпитывался только осадками. Проход уходил штольной вниз. Попеременно, подставив спину, он перенёс своих помощниц. «Повидла» не упустила случая. Поглаживая лицо правой рукой, она легонько пощипывала «транспорт» за щею. После двух поворотов – глухой тупик. Вода ушла в нижние горизонты. Продиктовав азимуты и измерив расстояние, вернулись обратно. На прощание Антон зачерпнул каской воду с четырьмя рыбками. Было обидно, когда при выходе на поверхность, они окрасились тусклым, серым цветом. Жалко, что они, почти мгновенно, всплыли брюшком вверх. На молчаливый вопрос он получил два недобрых, осуждающих взгляда.

Вечером, на докладе, «Дубовичка» устроила нагоняй. «Мало что один без страховки полез, так он и девочек потащил! А если там сифон и километра два подземного стока? Думал своей головой или опять спал или рисовал, как всегда на лекциях?!»

Неудачный денёк. Зато «зачёт» получили автоматически. На картах появилась новая пещера – «Плутон», по согласованности трёх первооткрывателей.

НЕУДАЧНИКИ

Тавтограмма**

Начихать на Никиту. Надоел напарничек. Намедни надумали налимов наловить. Невод наладили. Натрудились нетренированные. Натурально натугу нейтрализовать необходимо. Наливочкой настоянной натошак наклюкались. Наблюдаем навечно необъятные, непостоянные наброски неба. Незамысловатый, незапятнанный небосклон, неназойливо настраивал на нейтралитет. Нитевидно ниспадает нирвана – нектар небожителей.

Недоросли набежали. Недоноски недоразвитые. Невпопад надсмехаются. Налимов неводом натаскать? Нонсенс несовместимый! Наглость несусветная! Нрав нордический не стоек. Настиг неясытиков! Нокаутов навтыкал навозникам-недомеркам. Носопырки насопливили, ничуть не нравится номинация!

Никифор, наспех надетый, накатился. Навес навешивал, недоумок! Навороты, навалом настрогал. Наваксил непонятной нечистью. На неделе набожник наездом нарисовал ниспослание небес. Наитие называется. На нимб негрешнику навалило нечто надгробие, надмогильная надпись. Навыкрутасился! Неоднократно наглядеться настраивался. Нагольную накидку набекрень навязывал. Натюрморт недоодеженный! Наговаривал, нахваливал: новация, новшество, ноутбук начертано! Новодел нерукотворный! Новостройка новомодная, ныне на нужник напращивается.

Никифор невод навесил. Нахлебник непрошенный! Никиту нагрузил, наналец! Наймитов нашёл, нахальник! Надюха неожиданно набежала. Невеста народная! НАЯДА неадекватная! Нудистку нимфомания накрыла. Неудержимая, неугомонная. Неужто не нравится натурой насладиться? Начинает ноктюрничать, ненасытная! Натуралисты насандаливают недурственный нетерпёж. Никто не неволит. Негатив невменяемых не наказывает! Неврология!

Найдёныш Николка надоумил. Налимов на норках неводом никак не наловить! Надобно НАПАЛЬЧНИК насаживать. Наверняка насосутся! Нет, настырники! Нерестилище намутили, норы накрылись! Наелись-насытились наваром неорганическим! Неудачники!

* станкач – рюкзак с жёстким каркасом.

** Тавтограмма – текст, все слова которого начинаются с одной и той же буквы.

Давид Яновский**НА БОЛЬНИЧНОМ БАЛКОНЕ**

В куст вереска, в сиреневый туман,
Влетела бабочка, и словно растворилась,
Но, сделав крыльями блистательный батман,
Она мгновенно снова появилась.

Движение белых крыл обманчиво легко,
Ей тяжело бороться с притяжением.
Она, наверно, дышит глубоко,
Прерывисто, с огромным напряжением.

Затем явился тощий чёрный кот,
Продефилировал походкою пантеры
И, совершив внезапный поворот,
Исчез в кустах подобием химеры.

Кругом покой, всё стихло и едва
Без ветра чуть колыхнется листва.

* * *

Вся наша жизнь – рисунок на песке.
Подует ветер времени голодный –
И там, где билась жилка на виске,
Один песок останется холодный.

* * *

Время раскрыло жадную пасть.
Мечет судьба только чёрную масть.
Выпало жить нам на рубеже,
Чуть поскользнёшься – и тонешь уже.
Выплыть помогут – лишь позови –
Шлюпки надежды и вёсла любви.

* * *

Судьбу свою не искушай,
Предельно честным быть старайся,
И ничего не обещай,
Ни от чего не зарекайся.

* * *

Да, не молюсь я так, как положено,
Вера моя – как лезвие бритвы:
С религией – ничего похожего,
Но разве стихи мои – не молитвы?

Доброе слово, рождённое в сердце,
Какую бы ни надело тогу,
Поможет в стужу душе согреться.
В конце концов придёт оно к Богу.

ПРАВДА

Стерильное лезвие правды!
Ты вскрываешь нарывы мифов,
Обнажая раны истории,
Чтобы их исцелило время.
Ты скальпель в руке хирурга
И топор в руке палача.
Ты маникюрные ножнички
В руках легкомысленной модницы
И нож, вонзаемый в спину,
В беспощадной руке убийцы.
Ты приносишь горя не меньше, чем радости,

Но всё-таки без тебя,
Как без веры, любви и надежды,
Мертва душа человека.

* * *

Стихи, что рождаются на ходу,
Хрупкие, словно стекло,
Нежней лепестка фиалки.
Хочу удержать вас в памяти,
Записать на клочке бумаги,
Но вот улетела мелодия,
Какое-то слово забыто –
И вместо полного жизни тела
Остался скелет, одетый
В лохмотья случайных рифм.

* * *

Флейтист о чём-то молит Бога,
Целует нежно флейту он,
И сердца смутная тревога
Легит за музыкой вдогон.

Певучая сестра шофара,
Тоскует, заливаясь, флейта,
И кажется: в огне пожара
Кричит от боли голос чей-то.

Но вот услышана мольба,
Печаль куда-то улетела,
И, флейты верная раба,
Мелодия повеселела.

* * *

Нам каждый шаг давался с кровью,
Мы шли сквозь свору злобных дней,
И симулировать здоровье
Нам с каждым годом всё трудней.

Теперь желание простое:
В потоке грозных новостей
Мы просим счастья и покоя,
Не для себя, а для детей.

* * *

Оценишь колодец ты только тогда,
Когда в нём до капли иссякнет вода.

Генриетта Ляховицкая

ГДЕ АДА НЕТ?

Казалось, я – на правильном пути.
Хоть и не часто в нём была отрада,
мне любо было по нему идти –
пусть в одиночестве и без парада...

Сегодня, на холодном склоне лет,
поняв, что нет нигде на свете рая,
бреду, храня надежды робкий свет,
тропинкой в поисках такого края,
где для меня хотя бы ада нет.

В тот край успеть
мне непременно надо,
пока не поздно...
Только где нет ада?

КОНЕЦ ФИЛЬМА

Я помню фильмы отроческих лет –
магический из аппарата свет
игрою призрачных полутеней
нёс жизнь иных недостижимых стран
на белый и бесхитростный экран

души доверчиво-неопытной моей.

Те фильмы – радость скудных дней –
обидно быстро вдруг кончались
и надписью короткой завершались:
«Конец»... Нет сказки продолженья.
Вокруг меня шумливые движенья,
и говор зрителей, и опустевший зал...

Кинемеханик всё нам показал,
что целлулоидная плёнка сохраняла,
и мне пора бы выходить из зала,
но так хотелось, чтобы не было «Конца»,
который следовал тотчас после венца
иль незадолго пред венчанием влюблённых...

Теперь принадлежу я к стану умудрённых
и знаю, что «Конец» вполне уместен
и режиссёр пред зрителями честен,
на пике счастья сказку прекратив,
стеклянный не направив объектив
в тьму дней, в обычный быт продлённых

из-под венца отпущенных влюблённых:
без празднично украшенной кровати,
устроенной для близости интимной,
с опаской связанной интуитивной,
когда снимаются особенные платья –
конец романтики, цветов и подношений,

начало неизвестных отношений –
иные поцелуи и объятия,
непонимание, обиды, подозренья,
нагая правда тела и лица,
порою запоздалое прозреньё...

Но всё ж хотелось, чтобы не было «Конца»!

*ДЕТЯМ –
«Мой взгляд в kaleйдоскоп детства»*

«ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ...»

ВОПРОС

В бок арбузу
постучу,
у него
спросить хочу:

– Не дадите ли ответ,
вы созрели
или нет?

**ВОТ ТАК ЯГОДА –
ГИГАНТ!**

Тяжеленный арбуз
состоит кругом из пуз,

только на макушке
хвостик завитушкой.

Не было б его вкусней,
кабы был он без костей,
ну, хотя бы для детей.

**НАДО
ДЛЯ ЛИМОНАДА**

Он не жёлтый, не зелёный,
он, лимон, такой лимонный,

и не круглый, не квадратный,
а слегка продолговатый,

и не сладкий, и не горький –
кислый он внутри под коркой.

УДОБНЫЕ – СЪЕДОБНЫЕ

У бананов кожура
сама снимается. Ура!

Хоть везти их далеко,
но зато жевать легко.

ПАРОЧКИ-ПОДАРОЧКИ

Хотя не для ношения,
но, словно украшения,

просятся на ушки
вишенки-подружки –

лаковые, гладкие...
Ам! Вкусно!
Кисло-сладкие.

ГРОЗДЬ И ЕЁ ГОСТЬ

В грозди виноградной
ягодам приятно:

вместе им не тесно,
вместе интересно!

Гроздь тяжёлая лежит,
а над ней пчела жужжит.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ПЛОДЫ?

Яблоки зелёные –
их зовут «Антонами».

Их съедать полезно –
много в них железа.

КРЫЖОВНИК

Вот кусты колючие
окружают сад,

и на них, при случае –
при удачном случае,

прозрачные, мохнатые,
конечно, полосатые,
«арбузики» висят!

РАЗНООБРАЗНЫЕ

Если подросли вы,
чаще ешьте сливы:

жёлтые, и синие,
порою – словно в инее,
иногда – зелёные...

Хороши сушёные
и с сахаром варёные.

СОК В КАФТАНЕ

Что за плод душистый,
в кожице пушистой?

Откуси большой кусок –
и польётся сладкий сок! –

Персик румяный
в бархатном кафтане!

ЛУКОВКА

Вот лук-лучок –
налитой бочок –

пёрышко зелёное,
шкурка золочёная.

КАБАЧОК

Толстый белый кабачок!
Вот ему бы пятачок:

смог бы хрюкать звонко,
стал бы поросёнком.

КОЧАН - КОЧЕШОК

У капусты бок блестящий,
лист хрустящий,

между листьями – росинки,
кочерыжка в серединке.

МОРКОВКА

Низ морковки
очень длинный,
словно нос у Буратино,

а сверху – метёлочка,
похожая на ёлочку.

Тот,
кто пьёт морковный сок,
будет строен и высок.

ОГУРЕЦ – МОЛОДЕЦ

Летом огурец – зелёный,
а зимою он – солёный.

Если хрупать огурец,
то не нужен леденец.

РЕПКА

А вот репка – репонька,
жёлтенька да крепенька,

в землю упирается,
силы набирается.

ПОМИДОР

Если спелый –
красный:

в кожице атласной –
мякоть, сок, и семечки...

Зелёный чуб на темечке.

ЧЕСНОК –
ЕДКИЙ ЗУБОК

С виду нежный,
белоснежный

паинькой чеснок лежит
и кожуркой шелестит...

А покажет зубы –
обожжёт нам губы.

ЧЁРНАЯ РЕДЬКА

Редька чумазая
до безобразия.

Не умыть ей рожицу –
надо счистить кожицу.

Помогли ей чистой стать,
а она – язык щипать!

КАРТОШКА

Картошка – крепышка,
крепышка – коротышка.

Весною у картошки
прорастают рожки.

[27]

Д и П 18 / 2014

Леонид Бердичевский

НАРЕЧИЯ

*Из ниоткуда в никуда,
то прямо, то наискосок,
недели, месяцы, года
уходят, как вода в песок.*

Не повернуть событий вспять,
не раскрутить, как карусель,
здесь ясно всё: ни *дать*, ни *взять*,
не усадить судьбу на мель,

не задержать на робкий миг,
на, пулей пролетевший, взгляд,
на счастья вздох, на боли крик,
на то, что *под*, на то, что *над*.

Отрада в том, что, вроде, был,
и твёрдо топал по земле,
и даже что-то сотворил,
то трезвым, то «*навеселе*»,

что мыслью трепетал висок,
кружила жизни чехарда,
*то прямо, то наискосок,
из ниоткуда в никуда.*

* * *

Нет лучше музыки, чем тишина,
с ней не сравнятся Моцарт, Шуман, Верди.
Подвластно вдохновенье ей, поверьте,
в мечту ваш разум окупёт она.

И в неизвестность, в мыслях, поведёт,
в надуманные, сказочные страны,
в которых жизнь проходит без обмана
и тишине не требуется нот.

Нет лучше музыки, чем тишина,
и мы заслушаемся, ей внимая,
и понимаем – музыка иная
целебнее не будет, чем она.

ФЕВРАЛЬ

Февраль-плутишка
прорвался в март,
хоть и одышка,
зато азарт.
Весне навстречу –
каков, фигляр!
Но как беспечен.
хитрюга-март:
сыграл интрижку,
как пастораль,
как «чижик-пыжик»
игрив февраль.
Март рад стараться –
стремится вдаль,
луч брызнул вкратце,
и чист асфальт.
Куда стремится?
Ах, ну и ну!
Ловить на лицах
свою весну.

ОСЕННЯЯ
ПОЛУСКАЗКА

Показалось,
Пан играет на свирели,
пляшут тени перепуганных наяд.
Показалось
или, может, в самом деле
снова осень перекрасила наряд.

Я ночами
сочиняю при копилке,
и сюжеты мне диктует листопад.
Я ночами
роюсь в памяти копилке,
и на осень изменяется мой взгляд.

А под утро
сердцу хочется покоя,
чтоб вдохнуть осенней ночи аромат.
А под утро
мне привиделось такое,
будто осень изменила звукоряд.

Это значит,
ночь кружила каруселью,
и меня она отбросила назад.
Это значит,
Пан играет на свирели,
пляшут тени перепуганных наяд.

ДОЖДЬ

Хватит рваться в окно, но дождю-баламуту
надоело всю ночь на холодном ветру.
Грезит он об уюте – всего на минуту
задремать, пробудившись в тепле поутру.

Молчаливо окно, и задёрнуты шторы,
затаила сиротскую скорбь тишина.

Что ей дождь? Пусть швыряет немые укоры,
он всего лишь озяб за фрамугой окна.

Там ему суждено доживать до рассвета,
слёзы-капли с обидой делить пополам.
А минута тепла – это грёзы из бреда,
что доступней всего летаргическим снам.

ДОСАДА (*динтих*)

1. Аплодисменты рам оконных,
от ветра, воющего стоном –
 к молитве губ о тишине.
В сознание поселился сонном
рассвет с волшебным перезвоном
 от кирпичи, реющей в окне.

Спасеньем расплескалось утро,
распорядясь легко, но мудро,
 лучом ударив по глазам.
Небрежно, как мазком этюдным,
мне Некто прохрипел простудно,
 не устыдившись ни на грамм:

«От дня не ждите громких песен,
он будет сутолочен, тесен,
 вы зря остановили сон.
Не ждите ярости агрессий,
и вдохновенья от словесин –
 день, как вошёл, так выйдет вон».

Я подтвердил: « Да, это правда,
однообразие досадно,
 что предпринять?
 Ведь жизнь есть жизнь,
она течёт всегда наглядно,
захлёбываясь в чувстве стадном –
 то юмор в ней, то драматизм»

2. Недосмотренный сон,
как прогнившая нить Ариадны.
Поперхнувшийся стон
будоражит. И это досадно.

Если б сон смог дожить,
дотянуть до финала сюжета,
Ариаднина нить
пробежала б по белому свету.

Минотавра б надуть?
Мысль исчезла бы о лабиринте.
Пригласил в новый путь
без задоринки нас, без заминки.

Но, увы, до конца
не распутано то, что вначале,
как во взгляде слепца,
лишь наощупь, но, всё-таки, жалит...

Память – серый провал,
не случайно, а лишь мимоходом,
кто там нить оборвал, –
нам пенять предлагают на годы.

* * *

*«Душа обязана трудиться
и день, и ночь...»*

Н.А.Заболоцкий

Неважно, стихи или прозу
ты снимешь с пера, не спеша,
чтоб ими исполнилась просьба,
когда плодоносит душа,

да так, чтоб душа не остыла,
и в панике не извелась,
надолго была легкокрылой,
не гасла б в ней творчества страсть.

Но, если споткнёшься случайно,
дыханье не стоит беречь,

тогда вдохновения тайна
не даст ей из сердца истечь.

Пусть кажется многим, – без смысла
живёшь. В кошельке ни гроша.
Спеши сохранить свои мысли,
пока плодоносит душа.

ВЬЮГА

Бродяга-ветер приносит вьюгу
из поднебесья, с далёких гор,
кружится в вальсе она по кругу,
внося тревогу во весь простор.

Как будто дьявол вселился в вьюгу –
то свист разбойный, то горький смех. –
он вызвал б зависть к такому трюку
у циркача, чтоб сорвать успех.

Ей безразлично, что непогодой
её с испугом все нарекли,
она проводит урок свободы –
царица сказок всея земли.

Однако, вскоре, устанет, сникнет,
кружась спокойней, чем вальс-бостон,
и после станет совсем безликой,
о ней напомним лишь эха стон.

* * *

Ведуньей-колдуньей,
прижалась к окну тишина,
сном сникла молчунья,
но кажется, дунь я,
рассыплется мигом она.

Внимаю, неволью
молчу я, почти не дыша,
захваченный ролью,

не знаю, доколь я,
прожду, тишину сторожа.

Хоть мне не по нраву
беззвучный вести диалог,
пытаюсь на славу
закончить забаву,
достойный увидеть итог.

ПОРТРЕТ В ОФОРТЕ
(сухая игла)

Сутуловат и близорук,
и голос хрипотцой отмечен.
Не любит он пустой досуг,
хоть впечатленья, что беспечен.

Его бронхитное нутро
толкает к шарфу и берету.
Ему бумагу б и перо,
и большего желанья нету.

Он пьян от тишины глотка,
и втайне числится в богеме.
И, вроде, Господа рука
ему поглаживает темя.

Он глуховат, не в этом суть –
он слышит шёпот вдохновенья.
Жаль, с каждым годом круче путь,
но больше страсти, больше рвенья.

Прощенья просит он у тех,
с кем не всегда бывает «гибким».
Воспринимает свой успех,
лишь с иронической улыбкой.

* * *

Деревья на дома
отбрасывают тени.
И ветер приумолк –

забылся в полусне.
И кажется, вот-вот
закончится мгновенье
и подойдёт черёд,
блаженной тишине.

А вечер слеповат.
Он захлебнётся скоро.
Погасят фонари,
и только лишь потом,
задёрнет окна мрак,
заснёт уставший город.
Ночь будет до утра
распоряжаться сном.

И снова суета
взорвётся спозаранку
и огласит собой
душевный непокой.
И постучит судьба
промокшей каторжанкой.
Желанья побегут
весёлою гурьбой.

Анжелла Подольская

ВЕРА... НАДЕЖДА... ЛЮБОВЬ...

*«Вера, Надежда, Любовь... Сохрани и спаси.
От беды на краю – удержи меня.
Вера, Надежда, Любовь... Верю я, нас с тобой
сберегут от потерь эти, три святых имени...»*

Вера, Надя, Люба, сёстры-погодки, росли, точно сорная трава. В их дворе было много детей. Некоторые болели часто, кто-то умер ещё в младенчестве, а этим троим – всё нипочём. Никем не досмотренные, не долюбленные, вечно голодные, целыми днями бегали они по двору, а став постарше – по всему Подолу.

Город состоял из двух частей: Верхний город, Нижний... Верхний город из Нижнего, Подола, казался благополучным, богатым и, как принято теперь говорить, респектабельным. Почти каждый житель Подола мечтал, кто вслух, кто про себя, пусть не сейчас, а когда-нибудь, перебраться туда, наверх. Ну, а пределом мечтаний был Печерск, где обитали высшие должностные лица, богема, словом – элита.

Мать, давшая дочерям их имена, на самом деле ни во что не верила, ни на что уже не надеялась, никого не любила, даже дочерей, считая их обузой. И как только Господь её надоумил так их назвать? Все трое были они нежеланные, прижитые с мужем-пьяницей, уехавшим несколько лет назад на заработки, да и сгинувшим неведомо где. Она не пыталась его разыскать. Что с ним, что без него? Хотя без него даже лучше – ртом меньше. Теперь и сама она пила, чтобы забыть от безысходности своей жизни. И спасибо ещё начальству, что не выгнали её из сберкассы, где раньше она принимала коммунальные платежи, работая кассиром. Сжалились – перевели в уборщицы.

Если бы не убогая одежда, не виноватые выражения их лиц, не постоянно ищущие взгляды: «где бы поесть», девочек вполне можно было бы назвать хорошенькими. Своим жалким видом они выделялись даже в этом, Нижнем городе, где совсем немногие семьи могли похвастаться достатком. Мать пропивала всё, что зарабатывала, ничуть не заботясь о дочерях. «Захотят жить – выживут. Они ещё молодые, у них сил побольше, чем у меня» – огрызалась она перед соседями, которые пытались пробудить в ней остатки материнской совести. Жалея девочек, кто-то из них давал им иногда кусочек колбасы, чёрный хлеб со сливовым повидлом, пол-яблока. Подкармливали сестёр и на Житном рынке, где они часто играли и где их многие знали.

Жили сёстры на первом этаже покосившегося двухэтажного деревянного дома, подпёртого тремя длинными, толстыми брёвнами, чтоб не обвалился окончательно. Окно в их комнате, через которое легко было заглянуть со двора, всегда было плотно занавешено какой-то тряпкой, чтобы никто не мог разглядеть убогости их жилища, того, что у них нет даже постельного белья, что спят они на голых матрасах. Дом был остро аварийным, и все его обитатели мечтали, чтобы он побыстрее обвалился, возможно, тогда они получат новое жильё в начинающихся новостройках на Отрадном, а если повезёт – на Чоколовке.

А пока, запах родительского дома был настолько убийственным, так въелся в их кожу и волосы, что никаким ветром не выветривался, никакой холодной водой Днепра, из которой они не вылезала с середины апреля по сентябрь, не смывался. И когда девочки пошли в школу, одноклассники сторонились их, держались подальше, и уж никто из них не хотел сидеть за одной партой с кем-либо из сестёр. А девочки никому и не навязывали своё общество, только едва насмешливой улыбкой отстаивали своё достоинство.

Мать периодически беременела от очередного из сожителей, сменявших друг друга в их десятиметровой, буфетом поделённой надвое комнате. Ежегодно из-за буфета доносились своеобразные звуки, так что с раннего возраста девочкам уже всё было известно про «это». Долгими ночами, или под утро, мать орала: «Вон пошли!» И девочки – «шлёп, шлёп» – убегали на кухню, где мышьяная возня и постоянно капающая в умывальнике вода не могли заглушить ни вскрики, всхлипывания матери, ни пьяное мычание её сожителя. Очередная беременность заканчивалась то ли выкидышем, то ли рождением младенца. Вот тогда их дом превращался в настоящий ад, правда, ненадолго, поскольку из-за первой же простуды, или какой-то другой инфекции, новорождённые не доживали до двух, трёх, шести меся-

цев. Сёстры даже не успевали привязаться к младенцу. А вот их самих никакая зараза не брала, точно заговорённых.

Вся их жизнь проходила на виду, это не было случайно приоткрывшейся тайной. Соседи осуждали их мать, писали жалобы из-за постоянных скандалов и драк в этой семье, а некоторые и предрекали: «Ох! И плохо закончит эта баба».

...В тот год в разгар весны выпал поздний снег. Ударил мороз, всего-то день и продержался. Только их мать в том снегу замёрзла. То ли плохо ей стало, то ли с перепоя? Нашли её через два дня, когда снег растопило засиявшее солнце.

Уход матери оставил сестёр безучастными, во дворе облежённо вздохнули, но девочек жалели: «Бедняжечки! И при живой-то матери были сиротами, а уж теперь...» Комнату их опечатали, а сестёр отправили в детский дом на Воскресенской слободке. Было им двенадцать, одиннадцать, десять лет.

«Бедные девочки!» – директриса детдома, которую за глаза называли Наталкой, испытывала к ним смесь жалости и враждебности. Жалость – по вполне понятным причинам. Всё-таки, она была женщиной. Ну, а враждебность... Новенькие – дополнительная нагрузка, ответственность. Детдом был переполнен, а в другие, где были свободные места, сестёр не приняли – они были из чужого микрорайона.

Бойкую Наталку, «честь и совесть эпохи», в детдоме боялись все без исключения. В её голосе «кошачьего» тембра был твёрдый стержень. Она царила в детдоме с каким-то жизнерадостным самодурством. Некоторые из преподавателей считали её грубиянкой, партийной выдженкой. Она же, в свою очередь, всячески демонстрировала презрение к «придурковатой» интеллигенции среди своих учителей. «Воспитательный» процесс кипел круглосуточно. Жёсткими пальцами она хватала за подбородок провинившихся детдомовцев и драла их за уши, наводила «шорох» в столовой, уличая повара или раздатчиц в воровстве, с горящими глазами громыкала на учителей и воспитателей за «недобросовестное» отношение к будущему поколению строителей коммунизма. Правда, и у неё были свои маленькие слабости – особые отношения с некоторыми из воспитанников, любимчиками, которых она постоянно угощала ирисками и пирожками с повидлом.

Сёстры в число «любимчиков» не попали. Не успели. А вот свою порцию оплеух получили: «Что это у вас так воняет? А? Немедленно открыть окна! Кто дежурный? Получай!» Её мяукающий голос оглушал, находил каждого, был слышен везде, где бы она ни находилась.

Никто не знал, была ли Наталка замужем – домой она никогда не

торопилась. Иногда у неё случались запои, и тогда она становилась особенно невыносимой и агрессивной, при этом могла даже облаять любую комиссию. Начальство долго терпело, всё-таки при ней в детдоме сохранялся какой-то порядок, но из-за участвовавших заповей с ней расстались. Перевели на другую работу.

...Сёстры осваивали новые законы бытия – законы общежития, где ночью скрипела чья-то кровать, кто-то плакал в подушку, кто-то «ходил» под себя.

Вначале они не осознали в полной мере того, что с ними произошло. Казалось бы, тяжёлое детство, непростые годы... Откуда же щемящее чувство, когда их, остриженных, ставили в строй таких же, как и они, сирот? Почему тяжело и душно? Вон и берёза за окном, похожая на ту, что росла в их дворе. И отмыли их, и одели, в грубое, но чистое. А всё равно дышать трудно. Глазами они всегда искали друг друга, что было нелегко в этом поле остриженных голов. Девочки, не стовариваясь, плакали о матери и, может быть, впервые чувствовали к ней нежность.

Ну, а мать... Что мать? Ничего она не сделала, чтобы уберечь дочерей от превратностей жизни. Освободила их только от чумного дома и от себя...

...Потекли длинные, тягучие дни привыкания к новому месту, новым лицам. В принципе, это был период, ещё далекий от необходимости решать, выбирать, от чего-то отказываться. Казалось, что все как-то образуется, устроится, и все непременно будут счастливы. Три раза в день их кормили, пусть не досыта, но кормили. Одежду подобрали. Конечно, не новую, старенькую. Но дома у них и такой не было.

...Если бы жизнь можно было остановить, как киноленту... Возможно, нужно было бы остановиться именно на этом месте... Ведь дальнейшее было так предсказуемо: детдом, профтехучилище, фабрика или что-то вроде того. Вскоре они вполне сносно вписались в детдомовскую жизнь, подружились с другими девочками. Учились средне, не хуже, не лучше других, покорно высидевая на уроках, по очереди моя туалет или убирая свою большую комнату, где стояло до тридцати коек.

...Ещё при Наталке в их жизни однажды случился праздник. Оперный Театр дал для детдомов города шефский спектакль «Щелкунчик». Пока городским транспортом, с пересадками, детей везли в театр, у них от ощущения счастья першило в горле. С восторгом смотрели они через окна трамвая и троллейбуса на витрины магазинов. А то, что увидели в театре, ошеломило их, привело в полный восторг. Всё было похоже на сказку, начиная с кресел и расшитого золотом занавеса. Не дыша, вцепившись пальцами в бархатные подлокотники,

следили они за волшебной тайной, происходящей на сцене, совсем забыв о Подоле, о детском доме.

...Но Наталка ушла – ей прислали замену, сисястую тётку с равнодушными, выпученными глазами, существующими отдельно друг от друга. Она была косолапа, с трудом передвигала своё большое тело и получила за это прозвище «Глыба». Глыба не командовала, как «бывшая», ей было вообще наплевать и на детдомовцев, и на учителей, и на весь воспитательный процесс. Странно, но с уходом Наталки детдом будто осиротел, закончились ириски и пирожки для избранных. Даже само здание стало приходиться в упадок, как будто «скучало» по Наталке.

Но жизнь продолжалась и катилась по инерции, по заложенным ею «рельсам».

Приносили радость только летние каникулы – через день воспитанников водили на приток Днепра. Тут сёстры чувствовали себя в своей стихии, плавали, ныряли, ведь с раннего детства они привыкли к его водам. Вера и Надя, выходя на берег, от смущения глупо хихикали, распущенными волосами стыдливо прикрывая начинающую оформляться грудь.

Позже появлялись дачники. Воскресенская слободка издавна служила местом отдыха. Обычно дачи снимали почти на всё лето – Воскресенка превращалась в совсем другой мир. Своей сытостью и лёгким презрением к окружающим дачники разительно отличались от местных жителей, не говоря уже о детдомовцах, от которых старались держать своих детей подальше. Все были красиво одеты, на девочках, даже маленьких – купальники. Всегда пахло вкусной едой. Запах борща с натертой чесноком корочкой черного хлеба, вид варёных яиц со свежими помидорами и огурцами, доводили детдомовских до головокружения. Над Днепром разносился визг – вся детвора самозабвенно барахталась в воде и дурачилась. И вот тут детдомовские брали верх над дачными, пока, выбившись из последних сил, не падали в песок.

Во второй половине августа, после жарких летних ночей и распаренных лиц, дни становились всё прохладней, чувствовалось приближение осени. Дачникам становилось неудобно в их временных жилищах, они постепенно разъезжались, и детдомовские до начала сентября оставались полновластными хозяевами песочного пляжа.

К концу третьего лета уже и Люба, выходя из воды, прикрывала свою, едва наметившуюся, грудь. Сёстры росли, взрослея, менялись: распрямлялись их плечи, другой становилась осанка, улыбка. Ещё недавно стесняющиеся и неуклюжие, зарывающие свои фантики в сад, они наливались девичьими соками, завивая волосы на скрученные бумажки.

Ощущению себя будущими женщинами было и другое объяснение – детский дом стал смешанным. В нём появились воспитанники мужского пола. Теперь вся левая половина обветшалого здания была девичья, правая – мужская, кроме первых двух этажей, где располагались учебные помещения.

На большой перемене можно было спуститься на первый этаж, где в конце коридора был мужской девятый «Б», сосредоточенно делая вид, что ищешь кого-то из учителей. В девятом «Б» учился мальчик, в которого поголовно были влюблены все девчонки. Они писали ему записки, предлагая дружбу и «вечную» любовь. Это было время, когда девочки чувствовали себя уже «Наташей Ростовской». Мальчики, в большинстве своём, были и умственно и физически развиты хуже, и только единицы напоминали юного «Болконского».

Из сестёр только Любу не коснулось это увлечение. То ли в свои тринадцать лет была ещё мала, то ли, вопреки застенчивому цветению губ, не расцвели ещё женские чувства.

...Словом, ничто не предвещало крушения. Но однажды из детства сбежала пятнадцатилетняя Вера, испуганная пронзительными взглядами учителя физкультуры и труда на её грудь и стройные ноги. «Никуда, сучка, не денешься – моя будешь», – шептал он, преследуя и зажимая её в тёмных углах. Вера пожаловалась Глыбе, но та отмахнулась, наставив на Веру две огромные, часто дышащие ноздри: «Повода не давай. Сама перед ним задницей крутишь».

Милиция искала беглянку, подала во всесоюзный розыск, но её следы где-то затерялись.

Особенно по Вере страдала Люба. Она всё время выбегала за ограду и, долго простаивая за ней, высматривала в далеко идущих женских фигурах Верины очертания. Она очень тосковала, ей всё время казалось, что вот-вот распахнётся дверь и войдёт Вера. Было обидно, что она о своём внезапном побеге ничего не сказала им, сёстрам.

...Надя, самая красивая из сестёр, от того же физрука не убереглась. Отбиваясь, зажатая им во тьме спортивного зала, она обмякла, вытерпев разрывающую тело боль, а душу – стыд.

Выплакавшись, она побежала к Любе, рассказала ей всё, несмотря на угрозу учителя: «Кому проболтаешься – пришибу». Люба, которой шёл четырнадцатый, потащила Надю в душевой отсек в конце коридора и дрожащими руками осторожно отмыла её, стараясь не касаться багровых следов насилия. После Надя забылась тяжёлым сном, вздрагивая от каждого шороха. Люба всматривалась в лицо сестры и про себя порадовалась своей худобе и выпирающим рёбрам. Устыдившись собственных мыслей, схватила ножницы и по-

клялась себе, что убьёт учителя, если тот посмеет ещё раз к Наде приблизиться. Когда Надя проснулась, они обе рыдали, растирая соленые слёзы по щекам. На следующий день Надю нашли под лестницей – она повесилась. Физрука осудили, хотя он отрицал вину. Но нашлись свидетели – другие жертвы, которые молчали, испугавшись его угроз.

Глыбу выгнали с занесением выговора в личное дело. Много интересного всплыло после её правления: и падение учебных и воспитательных показателей, и большие хищения детдомовских средств.

Новый директор, по фамилии Сирый, длинный, с хмурым лицом, пообещал, что наведёт «жёсткий» порядок, «железную» дисциплину для всех, включая и учителей. Одним из нововведений стал ежеквартальный, обязательный медосмотр для девочек. Это было, возможно, и полезное, но очень стыдное мероприятие – проходить за ширму раз в три месяца, испытывая мучительный позор от рук врача и насмешек мальчишек.

...Так прошли два года, Люба превратилась в стройную красавицу с раскосыми, как у Нефертити, глазами. И пришла всё-таки радость, распутившаяся где-то под сердцем. Выпускной... Был мальчик, который умело поддерживал в танце, подавал пальто, пропускал в дверях. Другие девочки, прищуриваясь, прикуривали густо накрашенными губами. Люба – никогда. Это и привлекло мальчика. Они доверчиво смотрели друг другу в лицо, он обнимал, погружая руки в ворох её волос, боясь произнести, слегка подрагивающее на кончике языка: «Люба, Любочка, Любовь...» Она словно уплывала в иную жизнь, пытаясь достичь другого, ещё такого далёкого, берега.

...После детдома, как и предполагалось – профтехучилище по пошиву верхней одежды, общежитие, но не на Воскресенке, которая навсегда оставила след в её душе. Ещё не город, но и не село – слободка. Здесь хорошо отдыхать летом. Но зимой... Отсюда стремишься вырваться в мир троллейбусов, многоэтажных домов. Здесь она потеряла сестёр...

...Ветер... Листья за окном... Редкие капли дождя...

У Любы – обмётанные лихорадкой губы, целыми днями она рывается между лекциями в училище и практикой на фабрике. Ей нравится такая жизнь. Её наполненность. Поздним вечером, добравшись до постели, почти счастливая, засыпает. Во сне – сёстры.

Она ничего не узнала о Вериной судьбе. Не узнала, что, ускользнув от притязаний физрука, сбежав в никуда, колесила сестра по стране, обнимая появлявшихся в её жизни мужчин. Переходила от

одного к другому, пока не пробилась в её волосах седина. Не узнала, что дешёвым вином заглушала Вера тоску по брошенным когда-то сёстрам, но вернуться в прошлое у неё не хватало мужества.

Вера тоже не узнала, что Надя повесилась под лестницей, где когда-то Наталка таскала за уши провинившихся. Не узнала, что только Люба «вышла» в люди, живя и за себя, и за них, своих сестёр. Не узнала, что, встретив «своего» мужчину, она оправдала женское предназначение, родив сына и дочь. Что лишь она одна оправдала данное ей матерью при рождении Имя...

КНИЖНИК

Старый, с полупровалившимися ступеньками дом. Из стен торчит арматура. Дом пропах пылью, сыростью, рассохшейся мебелью. Собственно, трудно назвать мебелью то, что находилось в комнате: шкаф с отвалившейся дверцей, поддерживаемой табуретом, кровать позапрошлого века с металлической сеткой и набалдашниками, застеленная потёртым пледом, знавшим лучшие времена.

Единственное, что заслуживало внимания – деревянные, вдоль стен, стеллажи, полки которых прогнулись под тяжестью книг. И старинная крутящаяся этажерка на письменном столе. Здесь невозможно встретить случайную книгу. Все они собирались в течение долгих лет, можно сказать, всей жизни – свидетели юности, зрелости, старости хозяина квартиры.

Дом обречён на снос, многие жильцы выехали, только старый коллекционер, да ещё несколько таких же старожилы не соглашались расстаться с ветхим жильём. Для одних переезд стал бы подобен пожару, других пугала неизвестность – боязнь перемен.

Книжник был обособлен от мира, его не интересовали внешние его проявления – то, что происходит вне дома. Он всегда жил в собственном мире книг, герои которых живет тех – за окнами.

В комнате темно, но он безошибочно угадал наступление утра. У него застыли ноги, замёрзло лицо, которое лизала Люся, единственное живое существо, в чьей преданности он не сомневался. Отопление отключили, старенький радиатор не спасал. Скоро грозились отключить газ, электричество, воду... Тогда придётся что-то решать... Старик не отчаивался, убеждая себя не обращать внимание на грядущие неприятности.

– Знаешь, в чём цель несчастья? – спросил он Люсю. – Цель несчастья – привести человека к Богу. Все беды только приближают нас к нему. Зло приходит, чтобы мы пробудились. Сейчас следует

побыстрее встать, размять ноги, сделать завтрак себе и тебе. Пойдём, пойдём.

Он встал, набросил халат и подошёл к окну. По стёклам маленькими струйками влага стекала на подоконник. Вид, открывшийся ему, всё больше угнетал. Небольшой парк, который прежде радовал взор, сменили свечи высоток, тускло проступающие в предрассветном тумане.

Отойдя от окна, по узкой тропинке, пролегающей между ровными стопками книг на полу, вслед за Люсей он двинулся на кухню.

Что может быть прекрасней грациозной кошачьей поступи в контрасте с движущейся следом согбенной тени мужчины. Шарканье ног, запах старости, впрочем, полной достоинства, уверенности в правомерности собственного существования, в закономерности утра, начинающегося с мелькания кошачьих лап, с рождения солнечного диска и обещания долгой зимы. Взмах его руки, неспешное шествие в глубине руин дома, проступали в полумраке, точно на старой фреске.

Он налил молоко в блюдце: «Пей», – сказал Люсе. Разговаривал с кошкой, чтобы не забыть звучание своего голоса.

Среди коллекционеров он слыл легендой. Роясь в книжных развалах барахолки, отшвыривая современные издания с именами – брендами, отыскивал старинные книги. Как при промывке земли, выискивал таковую, точно крупницу золотой россыпи. Взяв в руки найденную, улыбался, предвкушая очередную встречу то ли со старым знакомым – героем повествования, то ли с очередными мемуарами, которые знал почти наизусть. Тем не менее, всегда находил какую-либо новую деталь, которую не замечал прежде. Уголки его губ приподнимались, морщинки у глаз разглаживались, прекращало ныть сердце. Слово лечило его.

Он не был религиозен, но в последние годы, изучая Каббалу, хотел понять, что же стоит за буквами древнего алфавита, что означает их цифровое значение. Любил изъясняться не простым обыденным языком, а иносказаниями, трактовками, всегда кого-то цитируя, раскладывая слова на звуки, выворачивая их наизнанку, докапываясь до первобытного и божественного их содержания.

Старик любил свою квартиру, знал на ощупь каждую её впадинку, каждый бугорок. Сколько помнил себя – всегда жил здесь. Когда-то – с родителями, позже с женой, которая давным-давно ушла, не выдержав его предпочтений к свалкам и барахолкам.

Наверное, он действительно был невыносимым в быту. Сидя за столом и сосредоточенно жуя, вдруг вскакивал, подходил к книжной полке, безошибочно вытаскивая нужную книгу. Листал, согрел её

ладонями, озябшую, прекрасную, бесконечно близкую, наслаждаясь ею, как женщиной...

Он всегда считал себя только книжником. Однако, в последнее время им овладела новая страсть, внимание могла привлечь какая-нибудь статуэтка, старинная ваза... Уговаривал себя, что это – измена КНИГЕ. Но извечна отрешённость коллекционера – постигать мир и самого себя сквозь дымку прекрасного.

Любовно склеивая разбитые края старинных блюд или нежно-голубых ваз, будто хирург, он бережно пальпировал внутренности изменённых временем предметов. Когда ему удавалось хоть немного приблизить их к первоначальному виду, блаженно улыбался, говорил с ожившими предметами на каком-то особом языке. В разных углах его разрушенной квартиры вспыхивали светильники, бронзовые лампы, восстановленные из руин.

Это была только его дорога. Под сладкой тяжестью знаний он шёл по ней, пытаясь вспомнить, что же предшествовало её началу. И не мог вспомнить ничего, кроме насыщенной запахами и шорохами тишины с едва доносящимися издали звуками на дороге, длиною в жизнь...

СОСЛАГАТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

Если бы... Самое отвратительное сочетание слов... Несовершённое действие... А ведь прошлое бывает лишь раз, его невозможно изменить... Это только кажется, что жизнь – абсолютная категория, словно алфавит: стоит лишь выбрать буквы, расставить их в нужной последовательности, и всё будет хорошо.

О, если бы она была мужчиной, а Оскар, её муж, – женщиной, всё могло бы в их семье сложиться совсем иначе. Спрашивается, о чём думал Господь, вложив женскую душу в мужское тело, и наоборот? Что же теперь рассуждать? Надо «донашивать»...

Бессонными ночами ей грезился след от детской ступни на мокром песке. Вот если бы у неё был сын, её первенец, которого дал, и тут же отобрал Господь... Если бы Ося тогда не был, как всегда, в командировке... Если бы она, дура молодая, не дожидаясь сильных схваток, сразу вызвала «скорую»... Сколько ещё «если бы», опережая друг друга, толпились в её голове, желая быть высказанными... Значит так было нужно... Кому?

Глаза Бэллы потускнели от выплаканных слёз, которых уже не осталось. Больше никогда в жизни, ни по какому поводу не проронила она ни слезинки. А если и улыбалась, то улыбка была кривой,

сардонической. Зачем Господь так наказал её? Она искала ответы в Библии, и если находила – не соглашалась с ними.

Всё это случилось давно, в другой жизни, отделенной от нынешней жирной чертой.

Воспоминания по сей день будоражили душу, особенно под утро, когда бессонница... Навсегда лишившись покоя, мысленно разговаривая с сыном, просила у него прощения, скучала по нему...

Трёх дочерей, которых впоследствии она благополучно произвела на свет, любила вполсилы, каждую всегда сравнивая со своим первенцем. Обретая мудрость души и седину в волосах, она выросла с ними, отражаясь в них, как в зеркале.

«Бэлла, Бэлла донна, Бэлла дорогая...», – напевал муж, перебирая почтовые марки, раскладывая их в нужном порядке в классерах. Бэлла упрекала мужа, что свою коллекцию он любит больше, чем родных детей. Ничто не могло омрачить его весёлого нрава. Всегда улыбаясь, даже в неприятностях он отыскивал что-то хорошее. «Жизнерадостный идиот», – думала она порой.

Большая семья была скреплена её постоянным усердием, как неким веществом. Семья, которая полностью поглотила её существование, не оставила выбора состояться в чём-либо ещё.

Дочери, зятя хотели пожить «для себя» и, словно сговорившись, не хотели рожать. Когда она заводила разговор на эту тему, отмахивались от неё: «Ах, перестань, мама. Кому это нужно в наше время? Ещё успеется». Что значит успеется? Она хотела внука. Не внучку – внука. Ей казалось, что он заменит сына, непременно будет похож на него. Муж, которого она призывала в союзники, отвечал всегда что-то невпопад, типа: «Дорогая! Не вмешивайся в их жизнь. Всё наладится. У них своя голова». Конечно, какая-нибудь вновь приобретённая марка радовала его больше, чем перспектива стать дедушкой. «Филателист недоделанный!», – свирепела она.

В доме царил ярко выраженный матриархат, вернее – в лице Бэллы властвовал диктат, вызывая бури, проносившиеся, как стихийное бедствие. В сущности, и Лила, и Соня, и Диана, которая ещё была на выданье, были достойными дочерьми своей матери.

Теперь уже было не обойтись повышением голоса, испепеляющим взглядом или шлепком. И Бэлле всё чаще приходилось напоминать о том, кто в доме хозяин. Впрочем, бури затихали столь же внезапно, как и разгорались, и все спешили к большому обеденному столу, как к корыту, стремясь ухватить кусок послаще.

Бэлла напряжённо прислушивалась к тишине ночи, которую наполняли посторонние звуки... Дом ещё спал, похрапывая, постаны-

вая... За стенкой, в духоте и тесноте спален, поскрипывали брачные лежа дочерей. И Бэлла не теряла надежду...

...Старшие, Лила и Соня, были смуглыми, с курчавыми волосами – в мать. Своего Карла, Лила держала на «коротком поводке». А вот Давид, Сонин муж... Как говорил о себе Эйнштейн: «Не прочь был брякнуть яйцами налево».

Младшая, Диана, отличалась от сестёр не только внешне. Почти блондинка, с большими серыми глазами, тонкая в кости, она нарушала алгоритм, по которому были скроены мать и сёстры. Будто была чуждой породы. Её трудно было представить без книги, в отличие от родных, которые считали, что книжку следует иметь одну – сберегательную. Даже Бэлла робела перед младшей дочерью. Напрягая память, пыталась вспомнить, с кем лежала в послеродовой палате. Может быть, ей подменили ребёнка? Как ни странно, но именно к Диане в её душе теплились более нежные чувства, чем к двум старшим дочерям. Она не старалась поскорее выдать её замуж, как старших, потому что интуитивно чувствовала – Диана выйдет за того, кого сама выберет.

...Никто из обитателей дома, кроме Бэллы, не заметил, как в начале весны округлились Дианины бёдра, как просветлело её лицо, а порывистая походка сменилась медленной, плавной. Только Бэлла первой сообразила, что Давид перестал исчезать по вечерам. Теперь, проводя дома всё свободное время, был нежен и предупредителен с женой. Только наблюдательная Бэлла обратила внимание на короткие взгляды, точно удары молнии, которыми обменивались зять с младшей дочерью... Бэлла испытала не то, чтобы ужас, но смятение: «В её семье?» Но в глубине души вынесла вердикт: «Ну, что же... Если бы Соня, эта корова, не раскачивалась так долго... Если бы вняла советам матери...» Бэлла не понимала, что же эта за тайна, которая швыряет мужчину и женщину в объятия друг друга? Словно в электрической цепи происходит замыкание, и ток, пробив себе иной путь, устремляется в неведомое. Из чего соткана ткань любви? В её жизни, в жизни старших дочерей никогда такого не бывало.

Бэлла хранила молчание. Ждала. Шли дни, недели. Одурающее лето сменили осенние дожди. И скоро ни для кого уже не было секретом, что в доме ожидается пополнение. Перед Новым Годом Диана родила сына, и Бэлла получила долгожданного внука. Никто, кроме неё, Дианы и Давида, не знал, кто отец ребёнка. Все обожали младенца, возились с ним, а старшие дочери хотели усыновить сына сестры. Оскар? Конечно, это событие и для него было из разряда приятных, но всё же не смогло затмить радости по поводу приобретённой уникальной марки с «ошибкой цвета».

ТЕАТР ТЕНЕЙ

[48]

Д и П 18 / 2014

Муза сошла с пьедестала, пролетела над городом и впорхнула в форточку к одинокому «поэту».

Обмотав шею шарфом, так всегда делали настоящие поэты в телевизоре, он изгрыз свой карандаш, но строчка не поддавалась. Он хотел создать нечто божественное, или хотя бы ремейк. Ни на миг не позволяя остановиться творческому процессу, он заставлял себя думать о высоком, но в голову лезло обыденное и низменное.

– Помоги. Помоги мне, – прошептал он, точно почувствовал присутствие Музы.

Но Муза медлила. Не спешила. Было жаль этого человека, который изо всех сил пытался создать «шедевр». Честно говоря, она и сама была не столь гениальна, чтобы помочь в столь грандиозных планах. Ей, давно расставшейся со своим телом, с никому не нужной прожитой жизнью, не хотелось потерять ещё и душу. Чем она лучше этого одинокого, который цепляется за обрывочные воспоминания, имитируя блеск в глазах?

– Я – пуст. Пуст, – шептал «поэт» в тишине ночи. Закрыв глаза, он представил себя на сцене, читающим свои стихи. Крики «браво». Адреналин счастья. Восторженный зал рукоплескал.

И вспышки... Вспышки кинокамер... – Боже! Подари хоть раз в жизни это счастье, – молил он, не подозревая, что просит о псевдо-части...

Сон открывал ему свои объятия, но очнувшийся от шквала аплодисментов, он мазохистски заставил себя вернуться к действительности.

– Безнадёжен, – резюмировала Муза и исчезла.

– Ну и поди... Обойдёмся без тебя... – прошептал «поэт». Он писал. Писал и чёркал... Чёркал и писал, разыгрывая бесконечную игру с самим собой, свято веря, что когда-нибудь количество перейдёт в качество.

Бронислава Фурманова

ПРИКОСНОВЕНЬЕ РУК

Моему дорогому мужу

С годами понимаю, познавши боль разлук,
Как много это значит – прикосновение рук.
Когда душою мёрзну, когда щемит тоска,
Ты рук моих озябших, прошу, не отпускай.

Когда мне станет больно иль страшно хоть на миг,
Спаси прикосновением и силой рук твоих.
Когда бывает жёстким и грубым мир вокруг,
Ты поспеши утешить пожатьем нежных рук.

Мне оставаться прежней подольше помоги,
И, что бы не случилось, не отпускай руки.
Сожми ладони крепче, не допусти разлук,
Мне так необходимо касанье умных рук.

Но если ослабеешь, я буду рядом, знай,
Моя рука с тобою, её не отпускай!

МОЛИТВА МАТЕРИ

Быть матерью – святая доля женщин,
И нет на свете той любви сильней,

Тревогою лежащейся на плечи,
Молитвой охраняющей детей.

Похожа наша жизнь порой на битву,
Года бегут и день сменяет ночь,
Шепчу всегда, везде свою молитву
За сына, и за внучку, и за дочь.

Молюсь в душе за вас, мои родные,
За ваше счастье, за удач поток,
Хочу, чтоб вас во веки и отныне,
Хранил от бед и от несчастий Бог.

Я пламенем свечи сожгу тревоги,
Чтобы от них осталась лишь зола,
Молитва матери – одна из многих,
Вас оградит от горя и от зла.

Как долго суждено прожить на свете,
Не знаю я, но об одном молю –
Пока во мне нуждаться будут дети,
Прошу – продли подольше жизнь мою.

ДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Сколько раз я увидеть мечтала
В веренице бессонных ночей
Дом кирпичный напротив вокзала
С медной ручкой у старых дверей.

Я стараюсь сквозь стены взглядеться,
К прошлым дням прикоснуться рукой,
Отыскать своё милое детство
Между старых вещей в кладовой.

Снова слышу, глаза лишь закрою,
Лёгкий скрип деревянных полов,
Бой старинных часов за стеною,
Звук знакомых до слёз голосов.

Я у дома стою и не верю
Охватившей меня пустоте:
Тот ли дом это? Те же ли двери?
Фонари неужели всё те?

Смотрит окнами тёмными чуждо
Чей-то свежепокрашенный дом,
На пороге не встретилось чудо,
Нет ни детства, ни юности в нём.

Ничего не осталось в том доме,
Только эхо в глухой тишине,
Тень былого в оконном проёме...
Память детства хранится во мне.

МНЕ ПОКАЗАЛОСЬ

Сжимает сердце серая тоска,
И губы сводит, словно в онеменьё,
Мне показалось, тает вдохновеньё,
Сквозь пальцы, тонкой струйкою песка.

Мне показалось, фразы и слова
Со мной играют в прятки, убегая,
И скаля зубы, словно волчья стая,
Рычат мне в уши: «Мало мастерства».

Пустых словес атаковала рать,
И я среди них плутаю бестолково,
Где отыскать несказанное слово?
И что оно услышано – узнать.

Бурлит ненужных слов водоворот,
Мне показалось, я на грани краха,
И душу наполняет холод страха,
Перекрывая мыслей кислород.

И если это так – какая жалость!
А может быть, мне только показалось?

ВДОХНОВЕНЬЕ

А что, по сути, значит вдохновенье?
Когда приходит вдруг, в одно мгновенье,
Неведомо откуда озаренье?
И нет спасенья!

Когда от мыслей в голове затменье,
Необходимых слов столпотворенье,
И на бумагу льётся откровенье?
И нет спасенья!

Когда мой взгляд на мир и размышленья
Наполнят смыслом новое творенье,
Отравит радость горькое сомненье?
И нет спасенья!

Когда нет силы обуздать волненье
При виде строк, рождённых в упоенье,
Не это ль означает вдохновенье?
Лишь в нём спасенье!

MEMENTO VITA

Memento Mori – помните о смерти, –
Нас мудрецы учили с древних лет,
И в повседневной нашей круговерти
О том, что каждый в этой жизни смертен,
Я помню! Но тревожит сей завет.

Тревогам в пику, мой двойник беспечный
Находит в утешенье пару фраз:
Возможно, наша жизнь продлится вечно,
Ведь переходит путь земной во млечный.
Ход наших мыслей разрушает нас.

О жизни помните – Memento Vita
Ещё одна пословица гласит.
Так может, в этом истина зарыта?

И не она ли от хандры защита?
Memento Vita, Memento Vita!

ПЕРРОН ВРЕМЕНИ

Я стою на перроне времени,
Провожая вдаль поезда,
Уходящие навсегда.
И по рельсам, словно по нервам мне,
Стук колёс, что бегут в никуда.

Провожаю взглядом встревоженным
Груз, поистине дорогой,
Помещённый в отсек грузовой,
Аккуратно в контейнеры сложенный,
И в скрижали записанный мной.

Увезли от меня поезда,
Мною прожитые года.

Я останусь стоять на перроне,
Ожидая поезд другой,
Тот, который везёт с собой,
Годы те, в грузовом вагоне,
Что отмеряны мне судьбой.

Я стою на перроне времени....

ВЕЧНЫЕ СТРАННИКИ

Так хочется погладить облака,
И покормить их ласково с ладони!
Они, как перламутровые кони,
Пасутся на лазоревых лугах.

В какую даль бегут без седока?
Не знать им, вечным странникам, покоя,
От жажды их спасая, – дождь напоит,
И взмыленные остуди т бока.

У радуги на длинном поводке
Друг с другом потолкаются игриво,
Качнув растрёпанной от ветра гривой,
Растают серой дымкой вдалеке.

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Туманят взгляд латунные квадраты
Средь каменной брусчатки мостовой.
Там выбиты фамилии и даты
Людей, с «преступной» пятою графой.

Расстрелянным в Ярах, погибшим в гетто,
Иль серым пеплом улетевшим ввысь,
Или пропавшим на чужбине где-то,
Долг памяти отдай! Остановись!

Мне стали настоящим откровеньем
Впечатанные в землю имена,
Бесчисленные камни преткновенья,
Где в каждом чья-то жизнь отражена.

Того же цвета, что звезда Давида,
Кричавшая о том, что ты еврей,
Что к миллионам душ была пришта.
Я слышу крик и здесь, из-под камней!

Латунь улыбку солнца отражает,
Притягивая мимолётный взгляд,
Зимой их снежный саван покрывает,
А осень дарит лиственный наряд.

И летопись трагедий этих давних,
Я обхожу с волненьем, не спеша,
Не ноги спотыкаются о камни,
О камни спотыкается душа!

Леонид Немировский

ЧЕРЕПАХА

Посвящается Ирине Островской

Мне часто вспоминается странный литературный герой Юрия Олеши, – тот, который всюду появлялся с подушкой. Некая ассоциация со странствующей черепахой, не расстающейся со своим домом.

Недавно я оказался в роли этой черепахи. Периодически наезжая в Москву, чтобы «проветрить» берлинскую скуку, я вдруг узнаю, что ко мне на 10 дней решила присоединиться моя супруга. Она тоже бывшая москвичка, но отсутствовала на родине все девятнадцать лет!

Можете представить ностальгический вихрь, поднявшийся уже в аэропорту, где я встречал её, чтобы везти в Коньково. «Умираю, хочу видеть метро!» – изнывала супруга в компании сумок, тюков, сцепленных с чемоданом на колесиках. А мою спину украшал ещё рюкзак с джентльменским скарбом, перемещавшимся теперь в новую обитель.

Как вам сказать? «10 дней, которые потрясли мир» Джона Рида несравнимы с нашей «Декадой»! Пытаясь ублажить супругу, я поделил Москву на 100 географических участков, увязав их с днями, планами и вкусами своей половины.

Ознакомление с городом шло в центробежном порядке: от Красной Площади к периферии. Вначале был, конечно, ГУМ. Помните анонс: «Потерялись? Встречайтесь в ГУМ-е у фонтана». Но мы друг друга не теряли. Нежными фотобликами мы осеменяли каждый квадрат исторического здания, пока, наконец, не вышли на бульжную площадь. Прелесть «красного раздолья» подгаживало, воскрешая призраком старого мавзолея, деревянное сооружение (откуда легендарное

кладбище вскоре огласят «непотребные» вопли сверхмодной певицы, сглаженные нежным баритоном).

Затем мы подошли к Мавзолею. Его таинственный вход почему-то охранял оруженосец из отряда петровских стрельцов. Воин охотно согласился запечатлеться с нами на фоне «Усыпальницы» за жалкие 100 рублей (2,5 Евро). Наверное, при Петре это были деньги!

Потом мы краем обошли Манежную площадь и спустились на Театральную, где в величавом покое, будто ожидая нас, стояли оба Театра – мифа: «Большой» и чуть приземистее – «Малый».

Проскочив ЦУМ, «Пассаж», Охотные и «неохотные» ряды, наконец, вышли на вождельный Столешников переулок... Надо бы пояснить. Тут тайлось, а теперь выпорхнуло наружу страстное желание супруги: её манили светлой памятью легендарные «столешниковые» пирожные.

Увы! Пирожные эти уже давно (вместе с их уютными домами – «кондитерскими») поглотили мраморно-холодные офисы.

И та же участь постигла булочную Филиппова и другие памятные раритеты... «Дым, все проходит, дым,..» Но дым отечества...

Москва периферийная влекла нас районом Чертаново, где до эмиграции счастливо и безмятежно обитала супруга... Но далёкое Чертаново было уже за чертой наших возможностей.

А на черта нам Чертаново. Манил нас Т е а т р !

*И прежде всех – Фоменко гениальный,
«Роман» преобразивший «Театральный»
(Булгакова, имеется в виду).*

А на «Онегина» я больше не пойду.

*В вахтанговский «содом», – и вот умора –
Что ни транскрипт, то новая «гоморра»:*

Балеты, мюзиклы – числа не счесть...

Восславим Бога: «Опера» хоть есть!

Затем была Филармония, где в полупустом зале Чайковского божественно звучал неизвестный нам (но, благо, открытый Лондоном) узбекский пианист.

Потом мы окунулись в ауру «Музея Кино» и его бессменного кормчего Наума Клеймана и (в арендуемом ими на задворках города кинотеатре) наслаждались прекрасными лентами... И там же весь месяц экран освещали французские шедевры, – с родными русскими буквами впридачу!

...Но, наверное, следует порадоваться и порадовать читателя завершением нашей славной эпопеи. Близился день супружнинного отлета. «Этот день мы приближали, как могли...»

И вот аэропорт. Снова тюки, авоськи, чемодан на колёсиках. И

опять, – мой неизменный рюкзак за плечами, как панцирь той странствующей черепахи... Скоро жена воспарит в воздух, а я, заземлённый, отбуду в прежнюю обитель.

Мы не спешим, мы расслаблены, мы остановили время, распузили его. В широко-шумном здании аэропорта сидим в буфете, празднуем своё отдохновение.

Наши вещи лениво покоятся на вокзальной тележке и тоже не торопятся быть сдвинутыми с места...

Но, пора! Полчаса до отлета. Мы прощаемся, где-то в районе границы целуемся, распределяем вещи. Всё нормально!.. Всё нормально?

Супруга:

– А где твой рюкзак?

– Не знаю, – отвечаю вяло.

До отлёта 20 минут; впереди паспортный контроль, «шмон» и ... радиоголос: «Гражданка такая-то, вас ждут на посадку!»

Гражданка удаляется, вялые жесты прощания, тревожные взгляды...

И меня вдруг пронзило. Боже! Я почувствовал себя черепахой, у которой отняли панцирь, оголив ей бесстыжую спину. Лёгкость – необыкновенная, и тоскливое чувство бездомности: супруга ушла, а я, застыв, лихорадочно вспоминаю, при каких обстоятельствах мой рюкзак меня покинул.

Все варианты безнадежны. Буфет? Валютная касса? Экспресс Москва – Домодедово?.. Ту-туу...»

И мне стало жаль привычную записную книжку, её телефоны и имена, свою композицию по «Мастеру и Маргарите», стало жалко вещей, хотя «вещистом» я никогда не был. Телесная легкость сменилась тяжестью душевной... «Ладно, – зато жена улетела».

И внезапно у выхода на перрон, взглянув на транспортёр, протаскивающий чемоданы в здание вокзала, я просиял: это не рюкзак меня покинул, это я его, просвеченного бдительным рентгеном, оставил на контроле!

Уверен, Герман так не летел в игорный дом, как я в «Бюро находок»... Я узрел его сразу. Обёрнутый в полиэтилен, рюкзак верно ждал меня, сияя музейным блеском.

Но мой аффектный порыв был прерван сотрудницей, оказавшейся миловидной девушкой. Она логично поинтересовалась содержимым рюкзака.

– Записная книжка.

– У всех книжка.

– Тренировочные брюки.

– У всех брюки... Особые приметы, – намекнула девушка.

И я вспомнил про свою «Композицию».

– С этого бы начали, – заискрилась сотрудница, – мы же ее без вас всю проштудировали.

– Господи, а я по ней сегодня в Музее Бахрушина играю спектакль!
– Но приглашённые (их было уже три девушки) огорчённо отказались. Увы, работа...

Летя, как Ангел, с сияющим панцирем за плечами, я вдыхал счастье, лёгкое, неимоверное. И вслед – солнечный, искристый звонок в телефоне:

– Мой самолет улетел! – голосила жена.

– Счастливого пути! – ликовал я.

– Он без меня улетел!...

(Тут грохнулся мой самолёт)

– Боже! Как ему удалось?

А просто. По правилам, сфабрикованным «Аэрофлотом», пассажир обязан – минимум за полчаса до взлёта – находиться в салоне лайнера, созерцая, как его повозка наполняется керосином, как всыскательно проверяются могучие отлететь в воздухе детали, и что при этом следует делать – если он верно расшифровал волшебные жесты сурдоэлегантной стюардессы!

...Позже дневной спектакль сменился вечерним. В «бахрушинском» зале сидела моя супруга, в роли единственной зрительницы. Вру: второй единственной была её кузина. А Москву заливал дождь.

Не без труда добыв билет на другой рейс, улетавший утром, мы приняли все меры предосторожности, чтобы не повториться. Крайне осторожной была жена: она не спала ночь и явилась в Домодедово за 3 часа до взлета. Мы уверяли себя, что обезопасились от случайностей, но до спокойствия было далеко.

Утром, влетев в здание порта, жена послала меня к информационному табло, где я, оставив её с вещами, высматривал нужные сведения о рейсе, сдаче багажа и т.д. И вдруг вижу: сломя голову, как слаломистка, зигзагами управляя тележкой, мчится ко мне моя жена; а чуть поодаль – пронзительный крик: «Женщина, вы уронили!»...

???

И затем хозяин этого окрика, похожий на Ангела... подносит нам выпавший из тележки рюкзак.

И тут я вспомнил М.Булгакова: «р у к о п и с и н е г о р я т... а рюкзак с ними не теряются!

Р S. «Заколдованный» рюкзак выкинул ещё несколько литературных зигзагов, украсив нам супружеский отдых в солнечной Африке... Надеюсь, вскоре поведаю.

Феликс Фельдман

* * *

Мне кажется, как будто я в эфире,
парю в нем одиноко, не спеша,
и будто бы, во всем вселенском мире
лишь двое: я и голубой мой шар.
Здесь в космосе глазами телескопа
пытаюсь различить, где низ, где верх,
и всё земное видится мне скопом
враждующих между собою вер.
Там голубыми венами все реки
текут привычно в синие моря,
однако по теченью человеки
плывут упрямо мимо алтаря,
и вследствие земного притяженья
всё падает законно сверху вниз,
а шар земной уже в изнеможеньи
пытается идти на компромисс.
И робко в нём, как самосохраненье,
от хищных глаз упрятавшись на дне,
рождается обратное теченье
в безбрежной и святой голубизне.

Мне кажется, как будто я в эфире
и вижу, что в масштабе бытия,
на мушку взяты, как в учебном тире,
лишь двое: голубой мой шар и я.

МОЙ САД

Лучами солнца, росной влагой,
весь кислородом напоён,
встречает сад апрельским магом
меня – свиданьем окрылён.

Забыта зимняя разлука,
весь месяц май верчусь-кручусь.
Меня насытил светом, звуком
мой сад, мой генератор чувств.

А вот июнь. Всё в ярком цвете.
Не барствуй. Не ленись, вставай!
Меня целует на рассвете
мой сад, мой рукотворный рай.

Июльский зной. Забыть о рае,
когда весь день как ад горяч.
Меня ж в прохладе сберегает
мой сад, мой участковый врач.

Роскошна августа осанка,
здесь пенье птиц и речь друзей,
накрыта скатерть-самобранка,
а сад – мой летний чародей.

И даже в слякоть непогоды,
случись когда-то с кем разлад,
я приведу решать невзгоды
в мой сад, он – верный адвокат.

И вновь зима. Но даже в стужу
среди завалов снежных дамб,
скажу вам, просится наружу
в моём саду бессмертный ямб.

* * *

Загрустили зимние метели,
память припорошил снегопад,

странно, но, однако, в самом деле
рок-гроссмейстер нам готовил пат.

Ты молчишь у зеркала тревожно,
грустно отраженье, и оно
спрашивает, что ещё возможно,
что ещё там, господи, дано.

Не ищи седин, у глаз морщинок
и корсетом не гневи живот,
посмотри еще горит лучина,
и надежда верностью живёт.

Милая, как гибки твои кисти,
перламутром блещут ногти,
и, в объятьях синий взгляд лучистой,
как и прежде, ночи коротки,

как упруги нежные овалы,
как вдвоём надёжно и хмельно,
вновь наполним свежестью бокалы,
чтоб не кисло зрелое вино.

Слышишь, зазвенели свиристели,
солнце растопило снегопад.
И не странно, что, на самом деле,
рок ошибся, прозевавши мат.

* * *

Дымкой затянут пролив
в розовом небе заката,
моря янтарный прилив,
сумерки жизни пирата.

Маятник – солнечный диск,
ялик качает волною,
шприц и спасительный впрыск
в мышцу под сердце больное.

Гавани узкий проход,
шлюпка меж рифами смята.

Медленный водоворот,
рыбы над золотом пирата.

Вспомнил. Грабители. Тьма.
Шторм. Помолился. Отплавал.
Рёбер решетка – тюрьма.
Суд. Преисподняя. Дьявол.

Лилий опавший букет,
челядь и справа, и слева,
в замке на гладкий паркет
в обморок падает дева.

Пристань. Таверна. Гудок.
Пьянка. Поминки пирата.
Всё. Размотался клубок
графа, кем был он когда-то.

ЛИСТОПАД

Они стоят, как в массовом распытье,
сечет бичами их тела Борей,
холодное осеннее проклятье,
до наготы разодранные платья
под щебет равнодушных снегирей.

Уже и листья их похолодели:
деревьев ежегодный суицид.
Ни искры жизни в пожелтевшем теле,
зима им стелет смертные постели,
как будто впрямь готовит геноцид.

Лежат ветвей обрубленные кисти,
лежат, от боли сжатые в кулак,
а ветер листья, видно, из корысти
завихривает в смертоносном твисте
и пылью гонит в беспросветный мрак.

Стоят деревья, словно на помине,
шрапнелью косит кроны крупный град,

и в серой мгле, как будто на чужбине,
в поклон зиме, языческой богине,
приносит осень в жертву листопад.

Исход печальный, знаки увяданья,
на стылом грунте листопада прель,
лишь черный ворон изморозной ранью
окрестность огласит площадной бранью
и саваном накроет их метель.

* * *

*В первобытных лесах Новой Гвинеи,
открыты живущие на деревьях племена,
никогда не имевшие контактов с цивилизацией.*

Здесь брожу я в миру по развалинам,
по обломкам надежд и страстей,
проживаю, как богооставленный,
среди масок лукавых людей.
Я туда, где в стране Индонезии
острова бороздят океан,
убегу от тоски и депрессии,
чуждым ливнем прольюсь в Ириан.

Растекусь ручейками и реками,
обернусь хитрым лешим в лесу,
подружусь с папуа-человеками
и туземку в зубах унесу.
Возведу с ней лесное убежище,
тонких пальм наготовлю для стен.
Лунным светом умоюсь чуть брезжущим,
и развешу стихи на шесте.
Продырявлю я нос острой палочкой,
для колец свои уши проткну,
позабуду о времени галочном,
в никуда окунуться рискну.
Я с Комбаями и с Короваями
разделю их удел и беду,
на тропинках забытых Маклаевых
дни закатные впрок проведу.

В папуасском лесном поднебесии,
там, где видится мир сверху вниз,
я, как веру свою, в Индонезии
первобытный приму коммунизм.
И позволю внутри вечной зелени
каннибалам-друзьям себя съесть,
они кости забросят в расщелины,
помогая спасти мою честь.
Криком буйно успех свой отпразднуют,
мы ведь стали в тотемном родстве.
Карантином, как штука заразная,
плоть пройдет через каменный век.

Ну, а дух – он с полета орлиного,
с просветленной душой, налегке,
курс возьмет на места те, былинные,
где в депрессии был и в тоске.
В город свой я вернусь белокаменный
на постой, в синеглазую Русь.
Помолюсь на развалинах пламенно
и прихода Мессии дождусь.

Валерий Матэцкий

ЗАПАХ ГРУСТИ

Лечу, как падаю над Падуей, и снов
Разрушенные Брента-Баккильоне*
Беспомощно клубятся в медальоне
Душою опрокинутых основ.

И снова зачарованно томлюсь,
Пытаясь вызнать в разочарованье,
Разорванные звенья оправданья
Тому, что осень пахнет словом ГРУСТЬ.

И пусть! И Бог с ней! Грусть имеет право
Благоухать, подолами шурша,
Когда тонуть возжаждает душа
В листе, напоенной тлетворною отравой.

Оравы трав пытаются взлететь,
Цепляясь за охвостья дуновений,
Но где же тот великолепный гений,
Что заплетёт их в ветреную плеть?

* – две реки, между которыми расположен
город Падуя.

МАЛИНОВЫЕ КРЫЛЬЯ

«Есть только миг между прошлым и будущим...

...Есть только миг, за него и держись...»

Л.Дербенёв

Стою на издыханье дней,
Поправ ногами
Теней дыханье...

Куда ясней?
И горче, и ясней,
И вкупе
С наплечной кобурой
Отстрелянных мгновений
И, не остывших всё ещё,
От будущих мишеней.

Всего милей –
ВОТ ЭТОТ МИГ,
Попранья Дискобола,
Летящих белых зёрен
Рис.

Взгляните вниз –
Вверху,
Я не постиг нагую красоту
Прейс-и-куранта
Расчлененья
Интимных туш томленья.

Я – брат твой, Тьма
Иль сын,
Бурлящий ген,
Простуженный Fa-Gott,
Бог – Фа,
File фаллоса,
Где Иннок Кентий –
Монах-Кентавр!

Простишь ли ты?
Прошу ли я?

Вот право!
Не есть ли здесь, смешно? –
Одна отрава.

Я буду уходить
(На что же ноги),
Всё дальше в глубину
Слоённой амаль-гаммы
Аван-Түг.

УРОВНИ ТРОП

*«О, не показывайте мне эту новую осень,
но несите меня в зиму...»*

Ингер Шивона М. Турвюнд

Два часа ночи по Цезарю...
Три часа дня по Христу...
Осень стучится как слесари
струй, в жестяную листву.

Крыши промокли как простыни,
город одели в озноб.
Крыши, не выше Вы, просто ни–
ниже Вас уровни троп.

Зябко закутаюсь пряжею,
в шерсти уют поищу,
в сердце роскошную, княжую
зимнюю радость впущу.

Старость, тебя, неизбежную,
мне бы, хотелось одеть
вязанной шубою снежною,
а не в осеннюю медь.

ТИК-ТАК

Стряхнуть с себя смерть, как жужжащую муху.
Расправить занемогшую пернатость крыльев.
Плыть в струях одиночества мчащих дней.

Как упруги перья твои, о, невесомость!
Как легко парить
вокруг вечного маятника Хроноса*.
Тик-так, тик-так, тик-так.
Весомо так,
несом в ни-как...
Тик-так, тик-так,
тик-так,
тик-
так.

* – *Время (др. греч.)*

ЗЛАЯ ХОЛКА

Серый Волчище сбился с дорог...
Ветер, ветер!
Рвёт покрывалом разбойничий бок,
Бредит, бредит.

Волку набился и в пасть, и в глаза
Визгом жести.
Под языком ищет жало и за-
Коном мести.

Ластилось, нежилось где-то, когда
Сучья течка...
Власть занедужилась пеной рывка
В омут речка.

Ох и крутёхонька холка пурги!
Злая холка!
Холка отвесная, волчьей тоски,
В жизни Волка.

СУТЬ Ю*

В разъём в разлом
Под кожу портупей
В каньон двух Лун
В ущелье дна БЕЗ ДНА

Всей сутью Ю
Облить себя елеем
И в Ю её
Вонзить сакральню Я

Сырое Я –
Сакральная нирвана
В НЕ РВАНЫЙ шов
Рубец нижайший швей

Нежнее сна
Заспавшейся Снежанны
У Анны
в междуножии межей

* – русская буква Ю похожа на символ Венеры,
опрокинутый на правый бок.

Вера Фёдорова

ПРОПАЩАЯ

Осень – пропашая девка бесстыжая,
Бродишь по улицам – рваная, рыжая.
С ветрами пьяными вдоволь ласкаешься,
Только слезами потом обливаешься.

Было немало в казне твоей золота,
Не для тебя, видно, царская доля-то.
Ветры, с повадками их вороватыми,
Рвутся и трутся ручными зверятами.

Лживо, дождливо, туманно и холодно,
И разворовано всё твоё золото.
Грязь на дорогах и мокрое месиво.
Плачешь сегодня, а как было весело.

НИТЬ СУДЬБЫ

Подарила мне судьба
одиночество.
Ни мольба, ни ворожба,
ни пророчество.

Во вселенной нет звезды,
чтоб сказать – моя.

Пожинаю те плоды,
что взрастила я.

Плен квартиры тишиной
надрывается.
Высший Разум надо мной
надсмехается.

Скоро нить судьбы моей
свяжет с вечностью.
И живу я без затей,
да с беспечностью.

КОФЕ

Напиток тонкий и бодрящий,
Твой аромат такой дразнящий!
Всё заполняя и маня,
Спасает по утрам меня.

В рабочий день и в воскресенье
Ты поднимаешь настроенье.
Кто кофе по утрам не пьёт,
Пожалуй, тот и не живёт.

Пьют с молоком, а кто с лимоном.
Я к кофе подхожу с поклоном,
Его достоинство ценя, —
Заряда хватит на полдня.

И повторить в обед могу я.
Живую пеночку смакую,
Вдыхаю снова аромат.
И получаю свой заряд.

Живи со мною, кофе милый.
Даёшь ты радость мне и силы!
Прости, но мне бежать пора.
С тобой прощаюсь до утра.

* * *

Я не страдаю ностальгией,
и в Альма-Матер не стремлюсь.
Когда прощались мы с Россией,
казалось мне, что не вернусь.

Казалось, горечь и обиды
со мной остались навсегда,
но прошлого всплывают виды,
родные лица, города.

И в горле ком, в груди биенье
толчками с левой стороны.
И так захочется в волненьи
поплакать у родной стены.

БЕРЛИНСКОЕ УТРО

С высоты балкона
Я встречаю утро.
Кирхи, перезвоны,
Ласковый рассвет.
Красотой до стона,
Ярким перламутром,
Карканьем вороны
Утро шлёт привет.

А когда в тумане
Улицы Берлина,
Крыши, утром ранним,
Канут в молоко,
Всё уйдёт за грани.,
Кирхи шпиль старинный
В белом одеянье
Где-то далеко.

Для детей

ПОЧЕМУ

Почему сегодня дождь?
Почему суббота?
Почему индейский вождь
В плен забрал кого-то?

Если солнца яркий свет,
Почему покорно
Тень идёт за мною вслед
Человечком чёрным?

Почему мы говорим,
А собака лает?
Почему над крышей дым
Кольцами летает?

Почему приходит ночь?
Закрывать нам глазки?
Почему луна точь-в-точь –
Колобок из сказки?

Почему так много звёзд?
Кто включает свет им?
Почему зимой мороз,
А тепло лишь летом?

Почему, скажите мне,
Ночью засыпаешь?
Почему растут во сне?
– Вырастешь – узнаешь.

ЛЕНЬ

Мама просит вновь сынишку:
– Хоть немножко помоги,
Убери игрушки, книжку,
И почисти сапоги.

Сделай что-нибудь для дома,
Я прошу тебя весь день,
Но, упряма и знакома,
За тобою ходит Лень.

Оглянулся, – Лень исчезла,
На диване нет её.
Может в шкаф она залезла,
И зарылась там в бельё?

– Что ты ищешь? «Лень пропала!»
– От тебя уже мигрень!
Что-то сделать – толку мало,
Лень искать тебе не лень!

НА КАТКЕ

Звенят коньки,
Искрится лёд,
Как мотыльки
Летит народ.
Каток открыт,
Открыт каток!
Сюда спешит
Людской поток.
Знакомый вальс
За кругом круг,
Найдём сейчас
Друзей, подруг.
Мельканье пар,
Весёлых лиц,
С дыханьем – пар
И лёд ресниц.
Веселье, смех,
Тепло плеча.
Кому – успех,
Кому – врача.
В движенье всё,
Как бахрома.
Во всей красе
Пришла зима!

Яков Раскин

И СКАЗАЛ ГОСПОДЬ...

Дни нашей жизни цепляются друг за друга, нанизываясь, как бусы, на нить времени. Иногда чья-то нить рвётся, и отдельные бусинки падают к тебе из чужих ожерелий отрывочными материалами, фактами, былями. Одна такая бусинка напомнила мне историю, случившуюся в Ливане.

В восьмидесятых годах прошлого столетия, когда на территории Ливана проводилась антитеррористическая операция, известная под кодовым названием «Мир Галилее», внимание многих было приковано к мировым информационным программам. Некоторые с пониманием относились к действиям Израиля, всячески оказывая ему помощь. Но были страны, поддерживавшие многочисленные террористические группировки, разрывающие ливанскую территорию, создавая там государство в государстве. Борьба израильской армии с терроризмом преподносилась ими в средствах массовой информации как *«зверства израильских оккупантов»*. Армию обвиняли в убийствах мирных жителей, мародёрстве....

Военная полиция израильской армии наблюдала за действиями подразделений, сводя к минимуму контакты с местным населением, не разрешая покупать в ливанских магазинах даже сигареты. При возвращении на территорию Израиля полиция выборочно проводила проверку личных вещей военнослужащих. Даже легально купленные в магазинах товары подлежали конфискации, а нарушители строго наказывались, вплоть до разжалования.

Как-то наша часть получила приказ о передислокации в район Бейрута, и глубокой ночью колонна с военной техникой направилась к новому расположению.

Часам к восьми утра, когда солнце уже ярко освещало и прогрело близлежащие деревни и горы, поступила команда остановиться. Все выскочили из автомобилей размять кости. Слева от дороги – небольшой лесочек низкорослых ливанских дубков и кедров, а справа была бахча, на которой красовались спелые дыни, привлекая своим ароматом и жёлтыми боками.

При виде такого «подарка», солдаты и офицеры разбрелись по полю, выбрали себе по паре дынь и, довольные трофеями, радостно возвращались к машинам, как вдруг военный «джип», проезжая вдоль колонны, внезапно остановился и из него вышел незнакомый полковник, как потом оказалось, из военной полиции. Оглядев присутствующих, он остановил возвращающегося с поля военнослужащего с дынями и спросил, что он здесь делает?

– *Как что*, – промямлил солдат, руки которого были заняты дынями. – *Э-э-э, вот, ... значит, ... дыньки ...*

– *Это ваше поле? Это ваши дыни?* – строго спросил полковник.

– *Нет!* – ответил солдат

– *Так какое право вы имеете брать то, что вам не принадлежит? Кто командир?*

К нему подскочил майор, заместитель командира полка, и представился.

Полковник приказал переписать фамилии и личные номера всех, кто в этот момент находился на поле с дынями в руках и, облокотившись на капот «джи́па», в ожидании закурил сигарету.

Через несколько минут, пробежав глазами список, аккуратно сложил листок, положил в карман и приказал вернуть дыни на место, обещая, что они будут нам стоить очень дорого, после чего сел в «джип» и уехал. Никто, конечно, не принял во внимание сумасбродство какого-то незнакомца, однако дыни вернули и через несколько часов этот инцидент был забыт, вытесненный другими, более важными событиями.

В полдень колонна остановилась у горного ручья, все ринулись к воде, наполняя канистры и фляги, но неожиданно увидели сиротливо стоящую в стороне будку, на которой арабской вязью и корявыми английскими буквами было написано: «Coca-cola». Хозяин будки, араб, никогда ранее не видевший израильтян, заискивающе улыбаясь, совал дрожащими от испуга руками всем по бутылочке кока-колы, выуживая её прямо из ледяной воды. Неожиданно для всех командир колонны громким голосом, чтобы все слышали, произнёс, памятуя об инциденте с дынями, чтобы не забыли уплатить. Не ожидавший такого исхода, глядя на большое количество израильских денег, ещё

не зная, что с ними делать, араб растрогался и, вытирая выступившие от свалившегося на него счастья слёзы, рассказал, что палестинцы никогда ему не платили.

Через четверть часа колонна продолжила движение, и ещё долго можно было видеть на дороге хозяина будки, глядящего вслед «оккупантам».

Прошло несколько месяцев. Закончилась операция, все вернулись к мирной жизни, как вдруг я получаю повестку явиться в часть к девяти часам утра. Прибыв на место, увидел человек тридцать своих однополчан. На мой вопрос о причине вызова, никто толком ничего не мог сказать. В неведении мы прождали почти час, когда, наконец, вышел дежурный офицер в сопровождении сержанта и, пригласив всех в помещение столовой, поинтересовался:

– Знаете ли вы, по какому поводу вас собрали?

– Нет! Не знаем! – хором ответила столовая.

– Тогда я вам напомню! 18-го июля сего года вы были замечены на чужом поле в Ливане, где незаконно похищали дыни, не принадлежащие вам, что категорически запрещено и законом, и моралью. Вы, очевидно, забыли, что в Торе написано: «И сказал Господь: «А коль поверг ты врага своего – не мародёрствуй!» Чтобы вас долго здесь не держать, командование части заранее приняло решение о наказании:

– С офицеров: штраф с каждой шталы и звезды по 1000 шекелей!

– С солдатского и сержантского состава по 500 шекелей с каждого!

Эти деньги будут перечислены в специальный фонд для раненых воинов. Командир части также просил напомнить вам, что офицер Армии Обороны Израиля должен служить для своих подчинённых примером, но случай на поле с дынями, к сожалению, это не подтвердил.

У выхода из столовой сержант по списку принимал деньги, выдавая квитанции.

Уже на улице, прощаясь, многие подсчитали, что денег, которые они уплатили, хватало, чтобы в течение года семья ежедневно наслаждалась дынями. Очевидно, тот полковник, когда обещал, что они будут нам дорого стоить, был очень хорошо знаком с арифметикой.

ПОДАРОК ОТ БОГА

[78]

Д и П 18 / 2014

Бывает, в жизни происходят чудеса, необъяснимые человеческим разумом. Я слышал о людях, которым ответ на мучивший их вопрос приходил во сне. Менделееву, говорят, его периодическая таблица приснилась. Как говорил мой дедушка: «и верить нельзя, и не верить нельзя».

Со мной случилась история, уже более пятидесяти лет не имеющая разумного объяснения. Произошло это в небольшом районном городишке Новозыбкове, что на Брянщине. На дворе стоял январь 53-го, зима выдалась особенно холодной. Несмотря на яркое солнце, температура доходила до 30 градусов мороза, но школьники были рады этому – занятия в школах были отменены и мы, одетые как можно теплее, играли в примитивный хоккей, прикручивая палочкой верёвочное крепление наших «снегурочек». Правда, у меня был всего один конёк, поэтому меня иногда назначали судьёй или, чаще всего, я был запасным игроком, но в основном – болельщиком.

В один из таких дней в кинотеатре демонстрировался фильм «*Падение Берлина*». В послевоенное время военная тематика привлекала зрителей, особенно мальчишек. Ребята, выпросив у родителей рубль на детский билет, побежали к кинотеатру и я с ними, хотя рубля у меня как раз и не было. Как я ни крутился, что бы ни делал, попасть на сеанс без билета не удалось, несмотря на то, что рябой контролёр, дядя Ваня, был должником моего дедушки. Будучи известным мастером – красильщиком, дед покрасил бесплатно его военную гимнастёрку в чёрный цвет, правда, на это обстоятельство я его уже «убирал» пару раз.

Дождавшись, пока все вошли внутрь, я поплёлся домой, проклиная мороз и дядю Ваню, который, в принципе, ничего плохого мне не сделал. В расстроенных чувствах брёл я по улице, пока не очутился у *Никольско - Рождественской церкви*, внешний вид которой напоминал церковь из саврасовских «Грачей». Чтобы сократить дорогу к дому, решил пройти через церковное кладбище, именуемое в народе по-украински *цвинтаром*. Вся территория была покрыта метровыми сугробами, но я, почти по колено увязший в снегу, решил двигаться вперёд. Неожиданно я остановился: слева, над главным входом в церковь, я увидел небольшую икону в киоте, стекло которого отражало холодный блеск лучей зимнего солнца. Меня поразили тонко выписанные лики святых, и даже мне, десятилетнему пацану, было понятно, что писал икону не просто какой-то богомаз, а художник самого высокого класса, в совершенстве владеющий кистью. Любовно и тщательно покрыл художник доску мельчайшими мазками, скрупулёзно прописав каждую деталь. Впечатляло отточенное мастерство,

в силу чего всё в иконе оказывалось в равной мере важно и значительно, всё было главным и ничего второстепенного. Постояв ещё несколько минут, я почувствовал, как ооченели мои ноги в легких ботиночках, и решил скорее уйти отсюда. Опустив глаза вниз, я увидел, что впереди, в нескольких сантиметрах от ног в сугробе проделано цилиндрическое отверстие, диаметром с бутылку, будто кто-то специально выжег это огнём до земли и на промозглой траве лежат стопочкой пять монет по двадцать копеек. Не веря своим глазам, я пересчитал монеты. Так и есть – рубль! Но откуда? Ведь когда я подошёл, никаких отверстий в снегу не было. Этого нельзя было не заметить. Так ничего не поняв, я крепко зажал в кулаке монеты и что есть мочи побежал к кинотеатру. Успел к концу киножурнала. Дома я рассказал эту историю дедушке, но он, посмеиваясь в усы, мол, знаю я твои чудеса, продолжал, раскачиваясь, читать Талмуд...

Через пятьдесят лет судьба вновь забросила меня в Новозыбков. После многих лет эмиграции я приехал навестить могилы близких. Изменился город мало, хотя несколько похоронел, если можно так сказать. На главной площади вместо гипсового Сталина стоял гипсовый Ильич с неизменной кепкой в одной руке и простёртой вперёд другой рукой, как будто указывал именно то место, где обитал коммунизм. Бесцельно блуждая по городу, я оказался у той самой церкви и, по понятной причине, решил пройти через *цвинтар*. Снова, как и пятьдесят лет назад, оказался на церковной территории. Воспоминания нахлынули на меня. Больше всего поразило то, что над главным входом висела та же икона. Сама церковь находилась в стадии ремонта, купола были оголены и покрывались новой кровлей, а на церковном дворе аккуратно лежали стройматериалы. Неожиданно открылась дверь и показался батюшка в чёрной сутане, с бородой и большим крестом на груди. С подозрением оглядывая меня, он спросил:

– *Молодой человек! Вы что-то ищете? Может, я могу вам помочь?*
– *Да нет, –* говорю, *– ничего я не ищу, поскольку всё, что мне было нужно, я нашёл пятьдесят лет назад.*

Батюшка удивился, но любопытство взяло верх:

– *А что же тогда вы здесь делаете, если пятьдесят лет назад уже нашли то, что искали? Что-то я вас раньше здесь никогда не видел. Кто вы и откуда?*

Я представился туристом из Иерусалима, бывшим жителем города, и рассказал ему историю рубля. Внимательно выслушав, он любезно пригласил меня к себе в небольшой домик, прилегающий к

церкви, поставил самовар и за чаем потекла неторопливая беседа. Интересовался Иерусалимом и святыми местами.

На просьбу прокомментировать тот случай, он ответил:

– Вы, очевидно, очень хороший человек и Бог таким образом помог вам в трудную минуту. Думаю, что он всегда будет оберегать вас на протяжении всей жизни.

В ходе беседы батюшка пожаловался на недостаток средств на ремонт, поскольку государство, по его словам, не давало ни копейки, ремонт осуществлялся исключительно на пожертвование прихожан. В конце беседы я выгнул из кармана стодолларовую купюру и, протягивая батюшке, сказал:

– Батюшка, хоть я и другого вероисповедания, но поверьте, что делаю это скромное пожертвование на ремонт церкви от чистого сердца. Тот рубль пятьдесят лет назад для меня был намного дороже, чем сегодня сто долларов. Считайте, что вы его положили на проценты в банк и за эти годы он принес дивиденды.

Мы распрощались. Я ушёл, унося с собой обновлённую память о чуде Божьего подарка, о котором буду помнить до конца жизни.

«ПРИДУРКИ» ИЗ МЕСТЕЧКА

В небольшом городке на Брянщине еврейское население до войны составляло едва ли не большинство. Среди них были свои знаменитости: раввины, музыканты, сапожники, портные и люди со странностями. Местное население почему-то считало их сумасшедшими, а некоторые даже «сумасшедшими придулками». Послевоенное время обогатило эту «галерею образов» новыми именами, памятными уже следующему поколению жителей города. В своей зарисовке хотелось бы вернуть нынешним горожанам несколько таких позабытых имён, без которых история города пятидесятих годов будет неполной и не столь колоритной.

В нашем доме жила семья парикмахера *Красновского*. Семья как семья: жена и недоразвитый великовозрастный сын *Фима*. Глава семейства целый день кого-то стриг, брил, делился местечковыми новостями с коллегами по цеху, жена хлопотала по хозяйству, а в это время Фима, сидя у окна, вгонял молотком в подоконник сапожные гвозди. Когда отец возвращался с работы, площадь подоконника полностью была утыкана гвоздями. На следующий день Фима проделывал эту же работу, только с другим подоконником. Когда все подоконники были уже «обработаны», Фима несколько дней вытаскивал гвозди, с тем, чтобы начать всё сначала. В течение года подоконники

несколько раз меняли, только Фима оставался верен своему хобби. Прекратилось это в одночасье, когда кто-то посоветовал отцу спрятать молоток и гвозди. Видимо, отец тоже ушёл недалеко от сына, если сам не мог додуматься до этого...

Вдоль высокого деревянного ограждения покосившегося павильона с дырой на крыше, сквозь которую прорастал ствол дуба, тянулись занесённые снегом ларьки. За ларьками во все стороны расходились широкие улицы в чёрной кайме палисадников. Протоптанные в снегу дорожки вели к деревянным домикам с застеклёнными верандами. Только голубоватые дымки над трубами оживляли пустынные улицы.

В одном из таких домов и жил Пиня Дулькин, по прозвищу «*почём сметана*». Этот «работал» только на рынке, причём для него не существовало плохой погоды – и в жару, и в холод он выходил на «работу». Уже немолодой человек, с полоской усов – ни дать, ни взять, Котовский, одетый в полувоенный френч «а-ля Сталин», при картузе и в хромовых сапогах, он каждое воскресенье, в базарный день, с молчаливой женой Ханой отправлялся на «промысел».

Рынок состоял из киосков, навесов, крытых прилавков и лотков, в беспорядке разбросанных под открытым небом. Особняком был «толчок», где продавалось всё и вся. Там можно было купить дефицитные иголки для швейной машины, батарейки для карманного фонарика, кремни для зажигалок и даже такой редкий в то время товар, как иголки для примусов. В толпе шныряли карманники, шулера и прочие криминальные типы. «Паханом» толчка считался одноногий, на самодельном протезе, спекулянт с побитым оспой лицом, который торговал подмётками из кожмита, хлопая ими, как в ладоши, и, не чураясь контрабанды, предлагал штамповку: трофейные часы, надетые в большом количестве по локоть на обе руки.

В торговых рядах расселись принёсшие на продажу продукцию со своего приусадебного хозяйства дородные деревенские бабки-«парашютистки». Так кто-то метко окрестил женщин, которые носили на спине тяжёлые корзины, подвязанные домотканым рядом.

Но вернёмся к *Пине*. Заложив правую руку за борт френча, он медленно движется по рынку, внимательно оглядывая торговые ряды, и останавливается у «парашютистки», прилавок которой заставлен молочными продуктами. Поковыряв пальцем в банке со сметаной и облизав его, словно проверяя качество, он придвигает банку к себе и вежливо спрашивает:

– *Почём сметана?*

Когда он слышит стоимость товара, его лицо, наполняясь кровью, багровеет:

– *Что? Спекулянтка!* – кричит он, и в следующее мгновение его правая рука открывает звонок спрятанного под френчем будильника, а левая вытаскивает с правой стороны френча телефонную трубку с обрывками проводов. Пронзая «парашютистку» взглядом Горгоны, он кричит в трубку, крепко держа освободившейся рукой банку:

– *Алло! Милиция? Срочно приезжайте на рынок. Поймал спекулянтку! Ряд пятый, место восьмое.*

Бедная бабка, никогда в жизни не видевшая телефон, хватается всего поклажу и, крестясь, быстро исчезает с рынка.

Пиня протягивает сметану молчаливо наблюдавшей за ним жене, добавляя по-еврейски: «*Нэм дос, Хана*» («Возьми, Хана»), и банка благополучно обретает своё место на дне корзинки. «Представление» продолжается в мясном ряду, где он находит очередную жертву среди ещё незнакомых с ним деревенских простаков. К концу дня корзинка наполняется различной снедью и порядком уставший Пиня в сопровождении жены, сгибающейся под тяжестью «покупок», возвращается домой. В конце концов, он напоролся на «парашютистку», муж которой, инвалид-фронтовик, «огрел» его костылём, после чего Пиню на рынке долго не видели. Но разве можно назвать его придурком?

Отдельный ряд занимали торговцы табаком. Мужики с прокуренными жёлтыми усами и коричневыми от никотина пальцами раскладывали на прилавке мешки с табаком-самосадам и нарезанные полосками газеты для самокруток.

– *Хади сюды! Попробуй мой тютюн! Крепкий, душистый, дробнэнький. Ох, и дерёт горло,* – зазывали покупателей продавцы на русско-украинско-белорусской смеси, полагая, что «дерёт горло», является критерием качества. Над прилавком висел прибитый ржавыми гвоздями к столбу большой жестяной плакат, на котором какой-то иностранец в странной для русского глаза одежде, призывал:

КУРИЛЬЩИК! БРОСАЙ СИГАРЕТУ ВОНЮЧУЮ!

ДОМАШНИЙ ТАБАК – ОН БЕСПЛАТНЫЙ И ЛУЧШЕ!

А всего в десяти метрах от него, при входе в единственный гастроном, висел другой плакат, на котором был изображён красивый, вальяжный мужчина с сигаретой, а под ним красовалось двустипшие Маяковского:

НА СИГАРЕТЫ Я НЕ СЕТУЮ, САМ КУРЮ И ВАМ СОВЕТУЮ

Табачное облако над этим рядом было такой концентрации, что даже мухи облетали его стороной. Курили тогда все, да и как можно было не курить, глядя на эти плакаты.

На выходе с базара сидел на своём низеньком стульчике вечно пьяный рыжий сапожник *Гриша Брагинский*, словарный запас которого состоял из сплошного мата. На нём он разговаривал и воспитывал своего тоже рыжего сына *Мишку*, но, в отличие от отца, Мишка никогда не ругался матом. Под стульчиком всегда стояла початая бутылка водки, из которой время от времени, мучаясь «жаждой», сапожник отхлёбывал приличный глоток.

Гришу всего один раз вызвали в школу по поводу успеваемости сына. Пытаясь выглядеть интеллигентным человеком и говорить нормальным языком, он, для храбрости «приняв на грудь», вставил пару, как ему казалось, «изящных» слов, отчего педсовет, стыдливо закрыв глаза, шарахнулся в сторону. Больше в школу его не вызывали.

Через несколько лет, когда рынок перенесли в другое место, на вопрос, где он работает, Гриша выпячивал грудь и с гордостью отвечал, дыша в сторону, что работает в институте. Мало кто знал, что именно там была его новая сапожная точка.

Нередко Гриша возвращался домой в такой стадии опьянения, что без сил падал в одну и ту же канаву, как будто был там прописан.

– *Вы моего прикурка не видели?* – спрашивала соседней привыкшая к этому жена, зная, однако, где его искать, поскольку место «отдыха» в течение нескольких лет не менялось, но пальцем не шевелила, чтобы притащить мужа домой.

– *А чего его искать? Чай, не маленький, адрес знает. Сам утрам приползёт,* – уверенно отвечала она себе.

А вот об этом человеке можно написать целый роман, но мы ограничимся лишь одним эпизодом. *Федос*, так звали его, был похож на солдата Швейка, на лице которого постоянно блуждала хитроватая улыбка, слыл признанным городским дурачком, не причиняя, однако, никому зла. Его дом на окраине города соседствовал с домом, где родился расстрелянный в тридцать седьмом году Нарком морских дел *Павел Дыбенко*. Федос состоял с ним в дальнем родстве. Старожилы рассказывали, что во время войны немцы сбили советский самолёт и лётчик, выбросившись с парашютом, приземлился прямо на огород *Федоса*, дом которого стоял у самого леса. Освободившись от парашютных строп, лётчик неожиданно увидел перед собой неподвижно стоящего с открытым ртом человека. После первого же вопроса он понял, с кем имеет дело, и предложил поменяться одеждой. Надев на себя федосовскую рвань, лётчик покинул огород задом и скрылся в лесу. Федос же, нацепив на себя военную форму лётчика, вышел в город, щеголяя новенькой гимнастёркой при погонах и лен-

точками орденов. Через несколько минут он был схвачен и доставлен в местное отделение гестапо, где тоже быстро поняли, с кем имеют дело, и снарядили погоню, но лётчик был уже недосыгаем. Всё же «для порядка» Федосу выбили пару зубов и отпустили.

После войны, одетый в истрёпанный до лохмотьев немецкий френч, он попрошайничал, причём выбирал офицеров, прогуливающих с девушками, и просил двадцать копеек, обещая спеть песенку. Офицеры, чтобы отвязаться, охотно давали, но то, что они слышали потом, вгоняло их барышень в краску.

А теперь пришло время представить вам ещё одну городскую знаменитость – *Григория Резникова*, которого многие считали сумасшедшим по той причине, что его действия не вписывались в нормальный, как им казалось, разум обывателя.

Представьте себе: месяц январь. Стоят крещенские морозы. Горожане, включая и меня – десятилетнего, с вечера заняли очередь за мукой в местном продовольственном магазине и, чтобы не потерять её, всю ночь стояли, страдая от мороза, в ожидании открытия. Перед рассветом, когда температура упала до 25 градусов ниже нуля, глаза стоящих в очереди вдруг округлились: перед нами, словно мираж, является совершенно фантастическая картина. В ста метрах от магазина открывается калитка дома *Давида Резникова* и выходит его сын Гриша в галошах на босу ногу, с тазиком и полотенцем в одной руке, и топором в другой. Очередь ахнула. Такое зрелище, да ещё в такой мороз! Все ждали крови. Ну, куда, скажите мне, нормальный человек может идти в таком виде, да ещё с топором? Но Гриша спокойно прошёл несколько метров до узкого ручья, покрытого толстым слоем льда, лениво зевнул и начал рубить лёд. Зачерпнув из проруби тазиком воду вместе со льдом, пару раз окатил себя, растёрся полотенцем, послал очереди воздушный поцелуй и, приветливо помахав рукой, проследовал в дом. Вся очередь единогласно вынесла вердикт: этот человек *сумасшедший*. Разве нормальный человек может такое вытворять? Сам же «ненормальный» Гриша окончил с отличием Минский физкультурный институт и по сей день в добром здравии проживает в Минске.

Несмотря на то, что некоторых моих героев давно нет в живых, воспоминания о них оживают при редких встречах с уже немногочисленными друзьями голодного, но богатого впечатлениями детства.

Альберт Леин

* * *

Жара капканит тень, прохладу,
Жара ленивит каждый шаг,
Разгорячённою громадой
К земле прижался неба шар.

Тревожный крик упал скворцовый
На веток утомлённый хруст,
Тяжёлой пылью облицован,
Как памятник апрелю, куст.

Как лист исписанной тетради
У вечности и этот день.
Мечтает город о прохладе,
Уйти в спасительную тень.

* * *

Прилегли облака отдохнуть
На подушки задумчивых сосен.
На плечо горизонта набросил
Вечер спелых закатов доху.

Сроки наших бессмертий прошли –
Беспокойством спешащая юность,
Век двадцатый презрительно плюнул
В ожиданья событий души.

Марши с левой гремели ноги.
Мы – статисты разбросанных судеб,
Но Всевышний поступки рассудит,
Наши чувства, стремлений шаги.

Утонул в горизонте закат,
Разорвав обожжённые вены,
Вечер с ложью смешал откровенность,
Темноту принеся на руках.

Облака закрывают глаза,
Пряча звёзд развесёлых малину,
Одиночеств холодных камина,
Умирующий взлёта азарт.

* * *

Усталость снимает ботинки,
Кольцо обязательств, долгов,
Я раненный милой улыбкой
Рассветности ваших стихов.

Алмазная россыпь одежды
И вязь виноградная слов,
И в зеркале мыслей мятежность
Привычек разбила стекло.

Внимая дыханью мгновенья
Застыл в удивлении дождь,
Радовались стихотворенью
Портреты великих вельмож.

И вдруг провулканились звуки
Разбитой тиши хрустала...
Дождя одиночества руки,
К себе возвратившийся, я.

НЕЗНАКОМКА

А над Невою хлещет ветер
Невыплаканною тоской,
Я вижу, ты сидишь в карете,
И за тобой следит Крамской.

Снег круговертит над мольбертом,
Крамской волнуется, спешит.
Не знала ты, что на портрете
Тебе века придётся жить.

[87]

Ты смотришь вдаль надменно гордо,
В твоих глазах мелькнула грусть.
Крамской писал – глядел весь город,
Теперь весь мир глядит на Русь.

* * *

Дождь идёт, гвоздит сентябрь,
Бьёт по улицам и крышам,
Будто пьяный дворник, вышел
В лужи бросить облака.

Быть снегам, а не дождям,
Встречам быть, а не разлукам,
И деревьев ветви-руки
Равнодушьем машут нам.

Пляшут капли по воде,
Не к обеду ожиданье,
С белоснежностью свиданья,
Распахнутого в метель.

На себя сам не похож,
Зимний день, декабрь и вечер,
Может быть, сегодня дождь –
Зимовластия предтеча.

* * *

Ветер, осень, непогода,
Холод, дождь косой,
Ах, уходят наши годы,
Как всегда, в песок.

Полудремлют лицемеры –
Чувства и мечты,

Вечер, празднуют химеры
Выход темноты.

Неизвестность и неясность,
Как сверчок в ночи,
Истомившиеся страсти –
Прошлого клочки.

И усталые стремленья,
Растревожа сны,
Тихо шепчут на коленях
О путях весны.

Отпуская всё в молитвах,
Чем грешна душа,
Осень – дождь стучит по плитам
Долго, не спеша.

* * *

Тает дня листопадный восторг,
А деревья, как будто распяты,
Тлеют чёрные угли ворон
На запястьях осенних закатов.

Прижимается небо к земле,
В тине туч задыхается месяц,
И не видно ночных журавлей –
Белых звёзд из далёких бессмертий.

Лишь капли слова шелестят,
Как заученность старой молитвы,
На губах у ночного дождя,
Рассыпаясь на каменных плитах.

* * *

Всплывает месяца ладья,
Разрезав хмурых туч вериги.
Бессонницы моей друзья –
Умом сейфованные книги

Вокруг меня. Бесправный раб,
Я чётки снов перебираю,
Как пёс зализывает раны,
Мечты листаю я тетрадь.

[89]

И вот заря, блеснув лучом
Надежды старой... Гильотиной,
Бессонницы, сняв паутину,
Я подставляю дню плечо.

Д и П 18 / 2014

Елена Колтунова

СЕКРЕТ УСПЕХА

(Записки почти классика)

Господи, как надоело отшучиваться и увиливать от вопросов читателей и почитателей! Тошнит от официальной версии моей благополучнейшей биографии! Она давно уже существует, как бы отдельно от меня и настолько канонизирована, что открой я секрет своего успеха, большинство это воспримет просто как шутку.

А ведь мои откровения могли бы помочь какому-нибудь бедолаге – Начинающему.

Я в «начинающих» пребывал долго, не один год, и собрал приличную коллекцию отказов из различных редакций, в которые с упорством маньяка-графомана рассылал свои рукописи.

По-моему, моих творений там даже не читали, ибо причина отказа была стандартной и для рецензента безопасной – портфель редакции переполнен.

Я шлифовал свои рассказы, выверял каждое слово, перебирал десятки синонимов, изобретал роскошные метафоры, но... увы!

Я пришел в полнейшее отчаяние, получив отказ из журнала, в который мне больше всего хотелось пробиться, а ведь в него я отправил лучшее из того, что когда-либо писал.

Сейчас трудно сказать, как повернулась бы моя судьба, если бы я не встретил Мишку. Эта случайная встреча сыграла в моей жизни и забавную, и решающую роль.

Но сначала о Мишке.

Мишка Бодайло был самым горемычным из моих сокурсников. Мы все в эти тяжёлые послевоенные годы были отнюдь не франтами. Но Мишка... Всю зиму, довольно морозную даже в нашей южной

полосе, он бегал в университет без пальто, в одном стареньком пиджачишке, наглухо застегнутом поверх штопаного-перештопанного шарфа, закрывавшего его тощую шею и грудь. Шарф заменял ему и свитер, и рубашку, а иногда, наверное, и майку.

Летом же, в сессию, сидя рядом с преподавателем, Мишка, обутый в грубые, разбитые, но, увы, единственные ботинки, потел от жары и волнения, и хорошенькая ассистентка, отвернув в сторону изящный носик, спешила выставить Мишке зачёт.

Впрочем, все преподаватели натягивали Мишке баллы, жалея его: прожить без стипендии он бы не смог. Ему и так приходилось подрабатывать, разгружая по ночам вагоны в порту, чтобы помочь матери и двум сестрёнкам, которых он оставил где-то в селе.

Но самую острую жалость вызывала не голодная и холодная Мишкина жизнь, а нечто совсем другое.

Мишка мечтал стать писателем!

Он аккуратно посещал литературные семинары, которые вёл старый, очень известный и очень требовательный профессор С-кий. Много писал. Работал, работал, работал... Но всё, что он делал, не лезло ни в какие ворота. Его творения были просто чудовищны!

Мишка так свято верил в свое призвание, что никто не решался сказать ему правду. В том числе и С-кий.

Продираясь сквозь дебри Мишкиных построений, С-кий приходил в отчаяние:

– Бодайло, – безнадежно спрашивал он, – как сие прикажете понимать: «Она хромала своей щеколдой!»?!

Мы опускали головы, чтобы не видеть Мишкиных жалких, растерянных глаз.

– Я думаю, Бодайло, – продолжал С-кий, – что вы изволили иметь в виду не щеколду, а щиколотку.

– Да, да... – бормотал Мишка, – я исправлю, я сейчас переделаю...

– Погодите, Бодайло! Это, не всё. Поймите, нельзя, нельзя хромать ни щеколдой, ни щиколоткой!

Мишка недоумённо вскидывал на С-кого глаза. Весь остаток семинара уходил на разбор злополучной фразы.

Мишка забирал свою тетрадку, садился за работу, приносил очередной вариант и снова приводил С-кого в отчаяние.

– Бодайло! – стонал С-кий. – Я ведь уже объяснял вам разницу между блуждать и блудить. Смотрите, что вы пишете: «Надя одиноко блудила по городу». Да еще добавляете: «Волоча за собой свои ноги»!

В итоге получалось, что С-кий уделял Мишке внимания намного больше, чем другим.

Самое интересное заключалось в том, что С-кий, то ли потому, что вкладывал в работу с Мишкой много сил, то ли, чтобы поощрить его, беднягу, за старание, давал Мишке возможность публиковаться в нашем университетском сборнике гораздо чаще, чем любому из нас.

Закончилась эта история, когда мы были уже на третьем курсе. Мишка притащил на семинар роман (к этому времени он перешёл к крупным формам), над которым работал всё лето.

С-кий раскрыл наугад рукопись, пробежал глазами страницу и воззрился на Мишку.

– Бодайло! – охрипшим голосом сказал он. – Я начинаю сомневаться, что когда-нибудь смогу вас хоть чему-то научить. Нет, вы попробуйте вдуматься в то, что написали: «Когда Алик входил в конюшню, всегда случались ржания лошадей». Бог мой! Случались ржания! С ума сойти!

Мишка, залившись свекольной краской, в полном замешательстве стоял, переминаясь с ноги на ногу.

– Ну, Бодайло, чего же вы молчите?

– Я думаю... думаю, что «случались ржания» – это ведь правильно? – Мишка искательно заглянул С-кому в глаза. – Вот вы не жили в деревне, а я-то с малолетства при скотине был, при лошадях тоже, хотя и захудалых. Ей-Богу, у них случались ржания! А то, как же?

С-кий побагровел и тонким от возмущения и жалости голосом завопил:

– Всё, Бодайло! Всё! Хватит! Уходите! Идите в ветеринарный! Там ваше знание лошадей вам пригодится. А от литературы – подальше, подальше!

И Мишка Бодайло ушёл.

За все эти годы я его ни разу не встретил и, честно признаться, почти не вспоминал. И вот теперь он стоял передо мной: вполне благополучный, даже respectable, с роскошным портфелем в руках.

После первых восклицаний и приветствий Мишка спросил:

– Ну, что ты, где ты? Я ведь слежу за литературой, всё надеюсь знакомые фамилии встретить, да почему-то не попадают.

Я кратко обрисовал ему положение дел.

– Да, брат, плохо. Ты же был самым способным из нас? С-кий тебя в ТА-А-ЛАНТЫ прочил! – он сочувственно покачал головой. – А мне старик, можно сказать, путевку в жизнь дал. Я ведь послушался его, пошёл в ветеринарный. Скажу тебе откровенно – очень неплохая работа. Но... литературу все равно не оставляю. – Он похлопал по самодовольно желтеющему натуральной кожей портфелю. – Пишу

для журнала «Коневодство». Как говорится, с лёгкой руки С-кого на лошадях в литературу въехал!

У меня на языке вертелось множество вопросов, но их скорее стоило бы задать редактору журнала «Коневодство». Я только сказал:

– Ну что же, я очень рад за тебя. Теперь непременно буду покупать этот журнал.

– Только ты учти, я сейчас – не Бодайло. Взял фамилию жены: Бодайло как-то не звучит. – И он назвал свою новую фамилию.

Весь вечер я думал о нашей встрече, о неожиданных поворотах судьбы, вспоминал студенческие годы, наши семинары, Мишку, С-кого. Думал о своих неудачах и о том, что было бы с редакторами, не желаящими признать меня, если бы они получили один из Мишкиных шедевров тех далеких лет.

И вдруг я понял, что как раз Мишкин «шедевр» не остался бы незамеченным. От него просто невозможно было бы отмахнуться, как не мог в свое время отмахнуться от Мишкиной стряпни С-кий. И уж, конечно, ни один редактор не рискнул бы отвергнуть такой вопиющий бред только под предлогом переполненного редакционного портфеля.

Вот тогда я, придумав рискованный план, и решился пойти ва-банк.

Я взял свою отвергнутую повесть, перечитал её и сел «исправлять». То, во что я превратил вполне приличное до этого произведение, сделало бы «честь» даже Мишке. Но мне казалось, что я смогу достичь большего. Мне нужно было, чтобы вся редакция, покатываясь от хохота, повторяла наиболее «удачные» фразы моей бедной повести, чтобы отдельные места из неё цитировались в кругу семьи и знакомых, чтобы моё имя запомнили, чтобы следующий опус схватили уже с жадностью, заранее похохатывая от предвкушения новых «перлов».

Ну а затем... Я ясно представлял себе, что может быть затем, если только... Если только моя затея не провалится в самом начале.

А пока я переделывал чуть ли не двенадцатый вариант (по-моему, полгода назад, создавая свое детище, я едва ли вложил в него больше труда!). Бедный С-кий, если бы он мог увидеть рождённого мною монстра, он встал бы из гроба, чтобы задушить меня собственными руками. Я не пренебрёг ни одной возможностью, чтобы довести текст до полного идиотизма, и, если бы при всём моем грехопадении мне всё же не претил плагиат, я всунул бы в повесть Мишкины «случались ржания».

Прошло всего две недели, и я с трепетом вскрыл письмо из редакции. Мои расчеты оправдались!

Рецензент, подробно обосновав отказ в публикации повести,

весьма беспечно советовал мне не расстраиваться, а упорно работать над моим произведением.

С этого момента, набравшись терпения, я начал «упорно работать», регулярно отправляя всё новые «улучшенные» варианты.

Через некоторое время меня уже начали похваливать, писали, что я удивительно расту прямо на глазах, давали советы и даже радовались за меня.

Года через полтора мою повесть напечатали в её первоизданном виде (в том самом журнале, что когда-то её отверг). К этому времени я уже считался самородком, находкой и детищем данного журнала. Его редактор, милейший человек, впоследствии скромно гордился тем, что не прошёл мимо таланта и помог молодому автору стать на ноги. Он считал меня своим главным вкладом в отечественную литературу.

Мог ли я нанести ему тяжкий удар, раскрыв тайну своего рождения как писателя?

Сейчас он очень старый человек, и когда-нибудь я, наверное, решусь опубликовать эти строки, зная, что они никому уже не принесут горечи разочарования.

А начинающим писателям узнать мою историю будет весьма любопытно!

Олег Никогосян**СТАРЫЙ МОТИВ***(в ритме танго)*

В волнах безудержной печали
Ты растворила образ свой
Когда мы только повстречались –
И дни сумбурные умчались
Тотчас же пришлою порой

Время
Остановилось перехлёстом
Время
Устало нас куда-то звать
Слишком
Порою кажется всё просто
Но
это только –
миражем кажется опять

Теперь под занавес устало
Во сне ищу я благодать
Где горечь радостью предстала
Но пробуждением не стала
Чтоб только призрак твой обнять

Время
Остановилось перехлёстом
Время

Устало нас куда-то звать
Слишком
Порою кажется всё просто
Но
это только –
миражем кажется опять

«ДЕКАДОЙ ПЕРВОЙ ДЕКАБРЯ...»

Каштан во дворе
Совсем облетел
Чернят обнаженностью ветки
Замельтешили сонмом снежинки
Хотя над Гамбургом
Оркан Ксавьер со штормом
И мостовая пристани в воде
Бушует шторм и
Над Калининградом
Подветрена
Упругость настроений
Декадой первой
Зыбкой декабря

Кофейной
Гущей крупного помола
Размазаны причудливо сюжеты
Абстрактных линий
А ля кого-то
Под такт
Соседской болтовни за стенкой
Куда-то подевались
С карнизов крыш
Сороки и
Вороны с голубями
Попрятались наверно от ненастья
За порогом квартиры
Осталось цветное вчера
Чёрно-белые ляпы
Блуждают по комнатам блекло

Теперь с непогодой
Всё резче очерчены годы

Сумрак ночи как встарь
Раскачал одинокий фонарь
Эпизоды короче
Но не очень волнующи впрочем
На пороге
Застуженный кашлем январь
Сторожит ненароком
Забывчивые вечера
Под звуки эха
Недосказанности фраз

О тебе претерпев
Вспоминаю всё реже
Чтоб не баловать память
Удачею прежней
Минуты
Перетекают не спеша в часы
По-разному
Словно суть
Из пустого в порожнее
Отвлекая вдруг
От скоротечного
Интернетом ТВ рюмкой шерри
Или ручкой
Чтоб писать не читая
О худшем и лучшем

Закрытых глаз
Калейдоскоп видений –
Мелькают тени
Скитаясь по обрывкам снов
Осадком горечи остынув
Не растворяется унынье
Непогрешимостью основ
Перечить вновь остатком слов
Ассоциации отстали
Маячить в непонятной дали

Отчалил плот
Пустых забот
На берегу

Смотрю куда-то
Укрывшись ласкою заката
Давно уж отлетели души
Любимых мною
В вечность ночи
Сжимая сроки всё короче
Жизнь суетливо календарит
Усталой мудростью греша

ДЕКАБРЬСКОЕ (почти газель)

Зашторил окна иней декабря,
Сосульки глянецю окна серебрят,

Снег нежится завалами сутробов,
Зависнув в воздухе мелодией прискорбной.

Рассторженность забывчивых провалов
Псевдозаботой календарной правит,

Неумолимый бой часов не глушит
Пронзительность рождественских хлопущек.

Всё жаждет новизны – зима сюрпризит
Предновогодним замыслом капризов...

Надежды несусветные даря,
Скользит во сне преддверье января

ОСЕННИЙ АКЦЕНТ

Нам осень
Утепляет души
Перед знамением зимы –
Листва надежд
Над нами кружит,
А с нею
Кружимся и мы.

Замысловато
Тая в проседь
Под такт мелодии разлук,
С тобою
Уплываем в осень
Объятями
Сплетённых рук.

Марина Авербух

ЛЮТИКИ – ЦВЕТОЧКИ

Сентиментальный детектив

Интродукция.

Конкурентная война как форма существования и обогащения вошла-влезла во все сферы современного российского бытия... Нередко методы её противозаконны и аморальны. Ниже описан один из множества эпизодов, произошедших в ближнем Подмоскovie: из роскошной лечебницы оздоровительного профиля, сразу после излечения стали безвозвратно и безадресно исчезать пациенты...

– Привет, Коллеги! Мы сегодня... Ой, Кристя, солнышко! И ты пришла... Малышке лучше? Этот пакет ей передай от меня! А то уж девчушка и позабыла тётю Марину, пока хворает, лапочка. Да ладно, не благодари... Это тебе спасибо... За доброту и...

Открывается дверь, и решительно входит сам Шеф... Я-то вижу, что наш Олег Иванович только изображает строгость и деловитость, да и то преимущественно с помощью стремительной походки, пытаясь что ли нагнать страху на нас. Но я давно знаю его доброту. И миролюбие. Умный, самый талантливый невропатолог. Мы – навсегда его студенты-старшекурсники. Можно сказать, что он на наших глазах и стал доктором наук. Многие из нас, и я самая первая, были на его защите и сразу же, конечно, после всех корифеев Учёного Совета, поздравили его. И вот совсем недавно он прошёл по конкурсу в знаменитую Корсаковскую клинику.

В конце 80-х Олег Иванович создал свой(!) «Медицинский Центр Международного Сотрудничества», куда и призвал немало из нас – своих прежних учеников.

– Зайди, Марина, сразу после конференции. Надо побеседовать.

Через полчаса я уже у него:

– Слушаю, мой Шеф, и со вниманием.

– Ты вначале свари мне свой кофеёк. – Шеф любит сочетание ароматов голландского табака от своей трубки и моего кофе. В нашей маленькой лаборатории все аппараты всегда в боевой готовности, как и реагенты с инновационной начинкой, для «синтеза» лучшего в мире напитка. Варю кофе по секретной технологии. Сейчас впервые раскрываю тайну: как только над горловиной джезвы пена поднялась высокой шапкой, бросаю в неё конфетку «Пралине»! Имеем в итоге и вкус, и аромат, как сказал бы Райкин, «специфические»... Такое не умеет никто!

Но, даже отхлебнув напиток, шеф не меняет своего решения поручить мне какое-то гадкое дело, которое, по его справедливому, однако, мнению, кроме меня никто не выполнит.

– Послушай меня, Борисовна... Мне неловко посылать тебя, именно тебя, в эту командировку, но больше такое дело не могу доверить никому. То, что ты освоила в секретной лаборатории «Джумбо», – глаза мои округлились от ужаса – я-то лучше его знаю цену этому моему опыту, но Олег Иванович, как бы и не заметив ничего, продолжает:

– На этот раз это уже не будет таким опасным (он-то откуда это может знать – с моих, что ли, слов? Он и о половине ужаса не подозревает!) Риск, конечно, не исчез, но я убеждён – он минимален. Паспорт и прочие «сопроводиловки» оформим на запасное имя. Все расходы оплачиваем без задержки и только наличкой. Уйдут – дошлю сразу. Для Отдела кадров и всех наших ты – в отпуске за два года сразу, однако в три месяца всё же надо уложиться. Но даже об этом – никому... Просто – научная командировка.

В ней ты будешь не одинока. К тебе подкатится под каким-то благовидным предлогом Некто, назовущий себя каким-то странным то ли грузинским, то ли индийским имячком. Не раскрывая всего, он разъяснит тебе многое и будет твоим почти незримым ангелом-хранителем. Хотя, скорее всего, он прибудет не один. При даме... У грузин и ангелы темпераментные.

– А пластическую операцию кто будет делать? – не без лёгкой намешки, допустимой нашими отношениями, спросила я, вспомнив вездесущую суперкинодиву Амалию... Он пыхнул трубкой и молча протянул мне опустошённую чашечку за добавкой кофе.

– И всё-таки, кого вызволять на этот раз будем?

– В одном заштатном городишке среднего Подмосковья есть некая спецлечебница, где в весьма перфектных условиях полуэлитные пациенты поправляют свои и чужие нервишки и не только нервы. Деньги на лечение, и деньги немалые, вносят сами больные.

Кто-то, правда, как бы из госгуманизма, – лечится «на халяву». Вроде бы банально... Заметим, что у них драконовский «прайс–лист», а прибыль, и немалая, куда-то утекает. Куда и к Кому? И не только это удивляет: лечат-лечат, условия – явно санаторные, а пациент мрёт по чём зря... И технология реабилитации – современнойшая, и обслуга – не всякому курорту такая достанется. Как будто на «морг» работают. Но трупы-то вывозят, а «по дороге» эти трупы исчезают!

...Надо там тебе «отдохнуть–поработать» на всём готовом, изобразить какую хочешь «астению – аллергию», усталость мышечную – сама и придумай. Но лучше, если поедешь избавляться, ну, скажем, и так и оформим, от «возникшей острой аллергии на фоне бронхо-лёгочной инфекции».

Я правильно сформулировал? Вот так! Пробыть там, для начала, надо не менее месяца. И ничего мимо носа не пропустить. Связь – кодированная. Как уже было. Обнови немного, поднагужься, пофантазируй. Закадри всех, кого нужно будет. Обаяй и, кому что надо, посули... Деньги придут сразу, а другое что, будем решать по мере поступления запросов. Помни нашего бесценного шефа Академика: «Отношения людей всегда требуют умелой режиссуры...»

– Шеф, я их «победю!»

– Ну, и ладненько. Договорились. Начинай сборы. Неделя – на телефоны, бумаги, укладку чемодана.

...И вот я на «точке». По моим воспоминаниям и справочникам – это уже приватизированное, знаменитое в Подмосковье, оздоровительно-санаторное «Полушкино». Барско-сталинский особняк с колоннами, просторными одно – и маломестными палатами, по-современному – номерами. Как в отелях, значит, живут и лечатся и... каждому своё. Под боком, живописно извиваясь «вдоль крутых бережков», Москва-речка течёт. Своё подсобное хозяйство. Коровки... Лошадки... Парное молочко, кому прописано... Тишина и благолепие... Вышколенная обслуга, видеослежение и быкастая охрана при всех дверях и этажах... Всё как у порядочных «WIP-людей»...

И чего кому-то помирать без нужды? Но ведь помирают...

Уже при въезде встретила хмурая медицинская автоповозка. Но силки с телом я разглядела, несмотря на плотную занавесочку... – Серёженька! – это я к водителю моему – охранителю и советнику во всех спецситуациях. – Что-то меня укачало. Давай передохнём недалеко от главного корпуса. Когда ещё меня выпустят на прогулку. Осмотреться надо на территории. Вышли... Смотрим, точнее-то высматриваем, где пути отхода, что за непонятные и не обозначенные ранее строения? Ворота, как у Аллы-Пугачёвского замка. Красиво и непробиваемо. Мужички с собачками проходят не спеша своим дозором. Царь Салтан,

поди, без собак ходил «позады забора», чтобы невест не пугать, а этим мордovorотам нужна, видать, зубастая поддержка. Правда, для приличия, сетчатые намордники на собаках... На охранниках тоже не помешали бы... (Размечталась!) Подъехали поближе к главному входу в Рай (как бы не в Ад?). Пропуск на нас уже лежал – на вахте. Проходим, чемодан проносим. И мы внутри... Свят–Свят! И Серёжа отъехал не спеша. Что-то в мотор полез... Умница! Ждёт моего сигнала – «добро!».

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.

«День приезда» – всегда, даже при прежних режимах – свободный. Можно и прошвырнуться «по всяем». Вокруг корпусов – несметные уголья. Пруды и прудики, мосточки через непонятные канавки. Вспомнились Жаверни, что под Парижем. И здесь, в Полушкино, великий художник Клод Моне смог бы отыскать свои «Лилии в пруду»... Как всё-таки хорошо подмосковное лето в середине июля! Хорошо-то хорошо, но не расслабляюсь в умилении: ищу те точки, с которых меня выслеживают... Вон там отошла за угол чья-то тень. А эта «мымра» из окна пялится, как по заказу. Конечно, по заказу... Зайдю-ка я в оранжерею. Сколько лет прошло, а всё помнится! В ней были огромные «Виктории-регии», пальмы финиковые, банановые. Клумбы, куртины с ласковыми садовыми и даже полевыми цветами... Вспомнился стихок: «Цветы – скромны. Цветы – нежны. Прогресс их не коснулся. Вот Лютик! Посмотри в него! И Лютик – улыбнулся! Скорлупки – лепесточки, Как жёлтенькие точки. Беззвучный Колокольчик – старинный Граммофончик!» Лютиков не обнаружила, а вот новинка есть: неужто конопля? И целая деляночка! Кто же любитель? И семена откуда? Конечно, из Амстердама... А у меня в дому так и затерялся этот пакетик для «Любителя травки на-дому». В нём всё было: и земляца, и несколько зёрнышек для посадки!... Как бы гуляю далее, вглубь ботанического леса! Вот так-так! Это же наперстянка, а в метре от неё – «аканит». Это уж не воспетые «Лютики-цветочки» или «Ландыши». Тоже не безвредные летние радости: кому же полюбились вот эти по-настоящему ядовитые красавицы?! Делянки не так уж и велики, но «урожая» с них может хватить и на целый взвод!

...На душе чуть поплохело. А сзади уже скрипнула входная дверь и обозначилась... та самая «мымра» из окошка! Ласковый, но чуть липкий голос:

– Простите, Вы и есть наша новенькая? Кажется, Марина Борисовна? А я – Ваша главная помощница – Гликерия Петровна... Вы уже устроились в номере? Претензий нет? А то нас уже спрашивали о Вас! Так! Приехали... Сыск и слежка к нашим уslugам.

– Простите, Гли-к-е-рия Петровна, а мой водитель уже уехал? Мне кажется, я забыла в машине одну сумочку.

– Да вы не волнуйтесь так. Ему там помогают наши механики, так что, может, и успеете найти вашу сумочку. У нас тут никакая сумочка не пропадёт! Не сомневайтесь.

Уж точно, сумочка не пропадёт. А остальное? В порядке?

– Кстати, я здесь не была лет пятнадцать. Вот оранжерея – совсем не изменилась. И растения те же. И витражи. И даже аромат. Какие вы молодцы, что сохранили всё это богатство! А сумочку мой Серёжа сам поищет. Он же её и засунул куда-то. Если можно, попросите его мне и принести, прямо в номер.

На том и расстались с моей, может, здесь и самой заглавной «следачкой», если не хуже. Устроили меня в корпусе для командированных, подальше от основного контингента больных. Вроде бы и правильно, но мне работу усложнили. Заглянув, чисто рефлекторно, в оконце, неожиданно-негаданно углядела боковинку лечебного корпуса, в котором мне и предстоит «работать». Ровная и бесцветная стена без окон и без... Нет, не совсем глухая, вон, внизу какая-то дверь, по цвету почти сливающаяся со стеной. Как бы декоративная раскраска, но вряд ли. Здесь надо «бдить и бдить». Начинаю обход «своего ареала» внутри корпуса. Всюду ковровые дорожки. Уютные кресла и креслица. Столики (только что ломберного нет! А зря! Народ сейчас не копейный. Карты в общественных местах дозволяются. Значит и иные «азартные» развлечения). Неизменные «шахматные доски» на прежних местах. Вазочки с цветами, явно свежесрезанными. Комфорт прямо буржуазно-киношный, как из давних фильмов о богатых психолечебницах. – Доброго здоровьица! – слышу я. Немолодой, но вальяжный, цивильно одетый в нечто старомодное, да ещё при цветной бабочке. Оглядываясь, вдруг увижу стройную «шоколадку» лет двадцати... Чушь... Никакой дамочки рядом не было. Явно заскучавший «старком» решил завести знакомство с новенькой соседкой. Ну, и пожалуйста... Цалуйте мою ручку, уважаемый Валерий Викентьевич. Для того и «приехали-с». Променадю дальше. «Здрасьте, здрастьте! Приятно познакомиться...Нет, на пару недель. Дела замотали. Надо бы распрямиться... И вам того же. Ещё увидимся. Думаю, к обеду. Как прикажут. Здесь мы все в дружеских крепких объятиях».

ЛЁЛЯ.

Иду дальше, «значить», по вверенной моим заботам территории – по плацдарму, точнее если, перебираюсь с моего второго этажа на незнакомый пока что третий и вижу... Лёльку!

– Ой, Лёлька! Ты тоже здесь?! Судя по спецовке, работаешь? Колись – что-почём? Я тебя год уже как не вижу и не слышу. Ну, ты красавица была, а стала ещё в два раза лучше. Как ты? Что дома? Ты знаешь, куда меня заселили?

...Моя, ну конечно, моя издавна! Лёлька молча улыбнулась и кивнула. Но что-то мелькнуло новенькое и грустное в её улыбке. Чуть ли не слегка испуганное! А так – всё при ней – и фигурка и бюстик чаровницы. И каблочки сантиметров на двенадцать.

– Маринка! А мы тебя вроде только завтра ждали!

– «Это кто же «МЫ»?». Она чуть споткнулась, но быстро выкрутилась, как мне показалось:

– Да начальство звонило и приказывало, чтобы бдить и не допустить проколов. И чтобы всё по первому «ряду»! Извини, я к тебе после обеда забегу, а пока у меня очередная запарка!

...У Лёльки вся жизнь в непреходящих запарках. Она, как магнит, притягивает всякие ЧП. По делу и по безделью, но даже перманентная нервотрёпка, похоже, не лишает её красоты и обаяния. А может, и подпитывает? Пока беседовали, мимо нас, не торопясь, прошло «чудовище» за два метра высоты с узенькой змеиной головкой посреди широченных, накаченных бодибилдингом, плеч.

– Какие у вас гиганты! Вы их тоже выращиваете?

– Этот, кажется, с «реомобилia», но точно не знаю – я же здесь почти на-новенькую и из нашей «интенсивки» мало кого знаю, да и оттуда все малоразговорчивые, так что я только на дежурствах по вашим этажам душой отдыхаю. Ну, прости, подруга, я побегу исполнять. И, цокая по мраморным ступенькам, исчезла в нижний этаж. Лёля – моя дачная многолетняя подружка. Собственно, именно она и заманила меня в медицину. В отличие от меня, препочитавшей аллопатию, аускультацию, иглоукалывание – на куколках, Лёлька специализировала себя «на зубы»! Даже бормашину «смастерила», применив велосипедный насос. И поступали в «Мед» мы почти одновременно, она, правда, на год позже: что-то в анкете у неё не срослось. Но потом почти не расставались, пока «Большая Перетряска» всех нас не расшвыряла по разным закоулкам...

...Но теперь надо нам, командированным, и на обед! Дело важное, хотя и вынужденно малокалорийное. Посмотрим на весь виварий сразу, с моего «птичьего» полёта. Кто-то и проявится, Бог даст... «...И шествуя важно, в спокойствии чинном» медленно движутся люди в Кантину... Идут Животики, Животы и Брюхи. Таковых более половины и у обоих полов, если ещё можно говорить о гендерном различии... Но важность походки у всех прямо-таки балетная... Как во

дворце владетельной принцессы из «Лебединого озера». Кто же из них Злой Дух «Оберон»?

Кантина – полуресторан-полукафе самообслуживания... Меню на все, но достаточно повышенные, вкусы. Если судить по «наличию отсутствия запаха», то культура «Общепита» не уступит ресторану при отеле «Националь». Ассортимент и цены – согласованы со средневропейскими стандартами. Проверим на вкус. Проверила. Вкусно. А о цене пускай думает моё Руководство – для того оно меня и командировало. Продолжу-ка я проверку качества готовки на моих любимых миножках! Но ход моих плотоядных мыслей прервал тёплый и слегка вкрадчивый баритон:

– На ваш столик можно опереться, то есть пришвартоваться?

Я приподняла голову. Упитанный, лет пятидесяти, и достаточно холёный мужчина в безукоризненном, для обеда, конечно, костюме стоял с маленьким подносиком, заполненным несколько несвоевременным ассортиментом: графинчик с чем-то похожим на коньяк, три фужера, три тарелочки с какой-то мелкой, но явно эстетской «закусью». Задав себе вопрос – «Почему три?», я почти одновременно услышала ответ извне: – Вы уж простите, но мы, как пираты, берём ваш кораблик на абордаж вдвоём! Пока я соображала, как смыться самой из получающейся «кают-компании», к нам подплыл подносик с чайничками – для чая и для кофе и соответствующим сервизным набором.

– А я вам не помешаю, господа-пираты? – не очень душевно, но и не так уж недобро ответствовала я, предварительно приклеив «улыбку радушия».

– Да Вы и будете главной причиной нашего появления в этих широтах-краях! Мы с Мэри изнываем уже два часа, не надеясь узреть одинокую и милую новую гостью. И вот он – пиратский фарт! А моё, извините за киносерийный слэнг, «погоняло» – Сан Саныч – это если для своих, а для медицины здешней – «Сандро Санскритович».

Пока я переживала и пережёвывала ещё и эту чепуху, Мэри (ну вот и почти тёзку мне «подсуропили»), всё расставив напротив меня и при этом не забыв так ласково поизвививаться-поизгибаться, что все её телесные прелести стали достоянием народных масс, то есть меня. Кстати уж, эти массы оценили и шейки томный поворот, и причёску а-ля Сессун, но в модификации XXI-го века. И блузу из «Прадо», не менее. Интересно, а тувельки «у нея чайные»?

Через пять быстро промелькнувших минуток, за которые мы успели обменяться «кодовыми» репликами, приступаем к нашей совместной работе: предварительно, за тёплой застольной беседой, в достаточном отдалении от «заселённых» столиков, была проведена

«рекогносцировка» – это по штабному слэнгу, а по-гражданке – согласование предстоящих взаимодействий – опять воинский жаргон! Но куда нам деться – «На войне, как на войне.» – именно это нам и предстоит.

Сан Саныч, как и положено служителям Сыска и Расследования, в течение всего нашего застолья сумел дополнить мои знания Проблемы, приведшей всех нас троих в Полушкино. Сандро Санскритович – интересный, если не сказать яркий, собеседник. То, что он нам рассказал, мне было известно, но, как выяснилось, недостаточно детально. А зря! И Сан Саныч, живописующий рассказчик, дополнил мои знания, доведя их до необходимого при предстоящей нам работе уровня и компетентности и, особенно, эмоционального восприятия.

«На горящую лучинку тоже есть причинка!» – именно так он начал свой устный реферат – доверительную беседу, а в итоге – инструктаж. Вот то, что легло мне в память:

«Как только в окончательном перетасованной России установился финансово-политический беспредел, народная предприимчивость начала выискивать все пустоши и делянки, на которых можно было бы возвращать «Золотые Листочки» любой валютной номинации. И практически на каждый клочок земли находилось не один, а минимум два претендента. И не всегда оба были законные. А нередко и ни одного законного. И чем менее законным был один из них, тем он был более агрессивен... Начинаясь Война, точнее, зверская бойня. Применялись самые беспардонные механизмы, заимствованные из уголовной практики, из опыта сосуществования реального Человека с безжалостной и бесчеловечной Советской Властью, с реально сдавшимся ей с потрохами и буквально бессловесным Советским Народом... Из народной же «гениальности», рождающей, порой, абсолютно Непредсказуемое и Беспощадное... Войны были непродолжительны, иногда и бескровны, особенно, если у одной из сторон сдавали нервишки, или не хватало «бабла» – то есть денег – чтобы перебить ставки конкурента.

Такое и случилось в локальной нашей сфере «Международного Медицинского Сотрудничества». Сдружились, пока ещё не надеясь на «консенсус», два «генерала» от медицины, решившие разрулить медицинское обслуживание населения Московской области импортными лекарствами, аппаратурой, сопутствующими, но вечно дефицитными, принадлежностями – и всё за счёт тех самых медицинских льгот, что Государство предоставляло, или только пообещало россиянам... Сплотились две группы, два клана, с довольно близкими, порой и родственными, связями, «заточенные» на один-единственный

источник «живой», но, как окажется, для многих – «мёртвой» воды. Как не прожить в добре и мире двум медведям в одной берлоге, так и не работать мирно на одной территории двум «паханам». Такого рода «жилищный кризис» и положил начало войне. Но войне тайной, многоходовой и многоарсенальной. Начатая словесно-бумажная атака – Клевета, Наветы, Разоблачения – быстро, за полгода, захлебнулась. Группа «АЛЬФА» и группа «Гамма» были почти неразличимы на поле «информационного» сражения, как два боксёра равной квалификации, веса, возраста, длины рук, скорости передвижения, реактивности, характера и спортивной злости. Да и тренерский состав, сидящий в абсолютно непроницаемой тени и на соответствующей недосягаемой для «журналигов» высоте, – почти неразличим... Начался «обстрел» ракетами дальнего действия: засылка «кротов», банковские диверсии. Всё впустую: на каждый залп приходил ответный, такой же мощности, никак не большей – своеобразная этика «борцов невидимого фронта!». Перейти в позиционное противостояние не было времени: надо наработать «успех», пока не подойдут иные, заозёрные или заокеанские, «варяги». Посему и заключено было нашими мудрыми «шефами» своего рода «внебрачное» перемирие; определены сферы влияния и квоты на доходы. И вроде как бы начали жить, пока не реализовался чей-то «план Барбаросса». Помнит кто-нибудь из старичков-читателей: «Рано-рано, на рассвете, / ещё мирно спали дети, / Гитлер дал войскам приказ, / И послал народ немецкий / против всей страны Советской. / Это значит: против нас!» Вот, примерно, так же неожиданно, но не на рассвете, а глубоким вечером, при «объявлении помолвки» юноши из «Альфа»-клана и девушки из «Гамма»-клана, в ресторанном фонтанчике, вместо французского шампанского, заструился... чистейший авиационный бензин – без запаха, но с великолепным октановым числом. И непонятно кем брошенная искорка воспламенила и фонтан, и весь зал, и все шикарные платья на кринолинах, и даже костюмы на «молодых» и на «свидетелях» торжества! Кто бы не выбежал, каждый был хоть слегка, но подмочен горячей жидкостью, и начинал «поджариваться – подгорать» на бегу. Сразу же пострадало более тринадцати, почти все остальные остались в ожогах или просто с набором кровавых ссадин... В итоге погибли десять человек из «Альфа» и семеро из «Гамма» – почти поровну. О чём это изуверская статистика говорит? Правильно! Вмешалась третья сила, для которой ВСЕ были равны и равно виноваты! Дадим ей погоняло «Дельта»! Кто они, эти сволочи? Где они? Кто их привёл? В ресторане были лишь свои! Даже официанты и кельнеры. Но кто был на стойке кельнером? Как «девушка»? Какая к чёрту девка? Там должен быть наш

парень. И где он сейчас? Бросились мы искать эту «сучку», но так и не нашли. Поначалу. Но пара хлопцев, снимая на памятные «фотки» своих друзей, ненароком прошла камерами и по стойке. Так мы зацепили и «Дельту». Что узнали, то узнали, но ничего в сущности важного. Кто их крышует, эту шайку «уголовников во временной отставке»?

А тем временем у нас, в нашей, «родной», то есть собственной клинике, начинается происходить Нечто Невразумительное. Здоровые люди, не бедные, иные даже богачи, квартиро- и замко-владельцы, должностные лица четвёртого и пятого уровней, не простые обыватели, доверившие нам свои болячки в надежде от них избавиться, от них-то, болячек, избавлялись! Но на следующий день-другой и сами, вслед за исчезнувшими болячками, кончались, либо впадали в кому, что ненамного лучше! Почему? Кто виновен? Все наперечёт! И шума поднимать нельзя было – все проекты и контракты лопнут! Не превращаться же в «морг элитного разряда» – глупо и опасно. Опасно смертельно! Какое же принято радикальное решение по выходу из нашего локального кризиса? Поскольку, как говаривали в начальной школе, дело запахло керосином, а в реале – так и было, нужны, и нужны немедленно, наши контрмеры не меньшей жёсткости. Что нам советовал наш Президент-долгожитель? «Мочить!» Но кого именно? Вопрос вопросов! Ответа нет! Приходится ловить «на живца!» И «живой блесной» будете, как Вы, Мариночка поняли, именно вы! Вы – наша «Мата Хари», но не забывайте, на чём она прокололась? «На эмоциях!»... Помните, у Бабея: «Холоднокровней, Маня!» Это и о Вас! Кстати, есть предположение, что «Дельтапланы» уже летают поблизости. Мы подключили всю электронику, идёт фиксация каждого шага каждого «насельника» нашего Амбуланс-Отеля! Но весь «цимес» проявится неожиданно! Вот эту-то Неожиданность надо ждать... И не только ждать, но и самим её готовить! И не упустить. Мы с вами на связи, а Вы – оставляйте «маркёры». Причём дифференцированные и, желательно, адресные! Например, на доске объявлений оставляйте писульки, типа такого текста: «Потеряна записная книжка. Просим нашедшего или нашедшую – важно указать! – оставить в регистрации». Сие будет означать – подозрительный Мужчина (либо Женщина)! обозначились конкретно. Другой маркёр: «Сколачиваю небольшую группу «ходячих» для прогулки по живописным окрестностям. Желаящие примкнуть – черкните свой Отельный номер на этой записке. Оргсбор – около Кантины»... Посмотрим, кто придёт. Третий Маркёр: «Кто «зачитал» мою книжку «Дьявол носит ПРАДО»?! Если прочли, верните на то же место». Это уже прямой сигнал опасности! Пока и хватит. Мы этими бумажками выделим хотя бы один

из локальных центров притяжения. Ленивые – не подойдут, хотя и не уверен. Бездельники – народ любопытный.

На том и расстались, так как часы отбили шестнадцать раз, после чего, как мне объяснили мои новые приятели, в Лечебном крыле – «мёртвый час» – пока лишь фигурально! – и мы, имеющие к медицине прямое или опосредованное отношение, по предписанной местным Начальством традиции, существуем до шести вечера в полусонном, а, главное, тихоговорящем, состоянии.

Но вечером, абсолютно случайно, мы с Вами, Мариночка Борисовна, увидимся!

БОЛИГОЛОВ.

Маленькая плантация смертельно ядовитых «цветочков», случайно обнаруженная мною в «ботаническом садике» при Отеле, упорно не даёт мне покоя... Мало вырастить яд. Надо уметь им и грамотно, то-есть действительно и «экологично» – и экономно и, особо важно, самобезопасно, использовать для заданного действия! Надо быть и Ботаником, и химиком-биологом, и уж конечно, Медиком, и, ну конечно – Диетологом-практиком!!! Без этого никакая Мымра не сможет воспользоваться даже Наперстянкой для злого Дела...

Версия великой Агаты Кристи (наперстянкой нафаршировали утку перед запеканием в духовке), не понравилась в своё время и самой писательнице! Да разве может устоять в условиях работающей духовки Биояд – это «тонкое органическое соединение»? Недаром авторница «приказала» убийце подкапать смертельный раствор чистого, аптечного «дигиталиса» прямо в блюдо жертвы! Тайно от жертвы, разместя.

Вот об этом обо всём думала я, направляясь на этюды в Ботанический Рай «мымры».

Но, поднявшись на «свой» этаж, я, во-первых, наткнулась на «мымру», быстро, даже не заметив меня, прошмыгнувшую куда-то вниз. А перед открытой дверью моего номера кучковалась группка медсестёр. Моей Лёльки среди них не было! Увидев меня, дамочки в белых халатах как-то съжились, быстро разделились, образовав мне, именно мне, проход в мою же комнату. Как провинившиеся школьницы, они, пряча глаза, что-то бормотали (так и напомнили массовку в театре, где каждый участник проговаривал нечто пустопорожнее, а в целом получался «говор толпы»). Ничего не понимая, но уже встревоженная, я вбежала в номер, но, увидев всё, так и присела молча на подвернувшийся стул. Около раскрытого чемодана с моими вещами, чуть ли не обняв его, лежала... моя Лёля! Не шевелясь, беззвучно и, как будто, не

дыша. На миг и у меня остановилось дыхание... Очнувшись от секундного ступора, я подошла и присела около подруги. Слава Богу, пульс на шее прощупывался. Но только нитевидный! Открытые глаза невидяще смотрели куда-то перед собой. А правая рука крепко держала... мой плоский набор пузырьков-тестов для выявления типа аллергии!

Медсёстры уже собрались за спиной и явно ждали моего «диагноза». Одна из сестёр решила разъединить Лёлю и чемодан, и все увидели в её безжизненной левой руке флакончик, подобный моим. Но он уже был открыт, и раствор как-будто пролит и на руку Лёли.

«Откуда этот флакон?» Молчание... Достав из дорожной сумки и надев резиновые перчатки, я, ласково приподняв неподвижную руку Лёли, вытащила из крепко сжатых пальцев открытый флакон и обнаружила глубокую кровотокающую царапину на подушечке указательного пальца. Вот в чём причина её шокового состояния!

Видимо, запредельное количество сильно действующего аллергена, или иного яда, попало через эту царапину и вызвало почти мгновенно Анафилактический шок.

«Срочно на анализ» – резкоскомандовала я, передав флакон с остатками подозрительного раствора сестре, которая помогала уложить Лёлю. Ну, вот вам и «дельтапланеризм» в действии.

А Лёля, проявив либо свою любознательность, либо выполняя по чьему-то приказу иную программу действий, говоря по-народному, моментально отравилась!

Но кто? И зачем подсунул ей флакончик с аллергеном? И аллерген ли это? И удастся ли вывести мою подругу из шока? Слава Богу, рядом на этаже своё отделение интенсивной терапии!

– Ну что стоите – быстрее за каталкой! Девочки! Срочно в реанимацию! Всё по полной схеме!

Бедная моя Лёлька! Сможем ли мы спасти тебя?...

(Окончание следует...)

Татьяна Устинская

НОЧЬ. ФЕВРАЛЬ. ДОЖДЬ

Зима не балует нас снегом,
И не даёт забыться сном.
Глаза откроешь – снова небо
Косым исчерчено дождём.

Не заметёт пути-дороги
Пушистой, белой пеленой,
Не унесёт она тревоги,
И не вернёт душе покой.

А в том краю, где зимы круты,
Нет места нам уже давно,
Но я представлю, на минуту,
Сугроб огромный за окном.

И с этой мыслью засыпая,
Впадая в молодость свою,
Несу любовь к родному краю
Священным даром к алтарю.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЮБВИ

Февраль – это месяц надежды,
Что всё возвратится весной,

И солнечный свет, как и прежде,
Нарушит сердечный покой.

Мечтаю, надеюсь на чудо,
Что счастье ещё впереди,
Моложе, конечно, не буду,
Но слышу весенний мотив.

И ты моё сердце услышишь,
И вспомнишь про нашу любовь...
Коты, что гуляют на крыше,
Споют эту песню без слов.

ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ

Памяти М. Глибицкого

В осеннем парке разметались листья,
Злой ветер им покоя не даёт,
Иду. От холода сжимаю кисти,
Ну вот, уже последний поворот.

Ты ждёшь меня, надеешься, что встреча
Тебе подарит радость и тепло,
А я дрожу, боюсь расправить плечи,
Не угодить бы в лужу за углом.

Мы старые уже. И силы тают,
Но ведь любовь, по-прежнему, жива.
Спешу к тебе, усталости не зная, –
В костёр любви подбрасывать дрова.

ПОДРУГА-БЕРЁЗКА

Ничего чужого не беру,
Не прошу ни помощи, ни денег, –
Белая берёзка на ветру,
Никого, качаясь, не заденет.

Принимать решение каждый раз,
И не знать, что буду делать завтра.
Не ропщу – судьбы такая власть:
Результат неправильного старта.

Выйду в поле, поброжу в лесу,
Ствол берёзки обниму рукою –
Бессловесную твою красу,
Постою, кудрявая, с тобою.

Сбросят мне деревья по листочку,
А рябина – ягоды для бус.
Слышу, как кузнечики стрекочут.
Сок берёзовый попробую на вкус.

Зарядит энергией меня,
Унесёт далёко страхи, ветер
Принесёт здоровья и огня,
Мне природа в каждой нашей встрече.

Станислав Львович

ВИШНЁВЫЕ ГОРЫ

Окончание. Начало см. в Альманахе «До и после» №17

Пришёл истинный «ХОЗЯИН»! А прежний отошёл в сторону и как-то незаметно исчез...

– Так кто же вы и откуда? – спросил И.В. Сталин, усаживаясь по-хозяйски и слегка по-стариковски в своё освобождённое «дублёром» кресло.

Я подошёл вплотную к столу и решил прежде всего поздороваться: – Уважаемый товарищ *Сталин*... Я рад был бы ответить на Ваш вопрос, но со мною это случилось впервые. У меня нет опыта в подобных передвижениях ВО ВРЕМЕНИ. Как говорит немецкая пословица: «Один опыт – это никакого опыта», но я не могу повторить его, хотя и хотел бы!

Сталин: – Почему же не павтарить и папытаться обратно вернуться, а? Может и экспедицию послать с вами же. Туда! В ЗАВТРА!!! Как говорят в народе: «Папытка – не пытка!» – его глаза на миг стали по-рысьи жёлтыми и злыми, но затем на рябоватом несвежем лице Вождя опять проявились морщинки-смешинки. – Мы проверили все ваши, конечно лишь те, что в принципе проверяемы, сведения. Вам можно доверять! – (Я слегка покачнулся.) – Не надо слишком волноваться – вам чрезвычайно повезло с этим открытием. К сожалению, никто из наших учёных не может объяснить на научном, материалистическом языке сущность «эффекта Ивана Денисовича». – Повернувшись ко всем присутствующим, он добавил, – а хорошо звучит, не правда ли, товарищи!? Наш профессор, товарищ Вольф Мессинг тоже не может им помочь, хотя как реальный факт и не отрицает. –

Обращаясь к Мессингу, – Шарлатанство вы тоже не обнаружили? – (Мессинг отрицательно покачал головой.) – А что такое произошло с деньгами, Иван Денисович? Может, вы повторите этот же номер?

– Я возражаю против повторения этой ситуации в прежнем масштабе. Слишком большой выброс энергии наблюдался тогда. Если только посмотреть поведение не всей пачки банкнот, а лишь одной купюры. Я очень надеюсь, хотя это будет лишь ВТОРОЙ опыт, *не более*, на его успех.

Сталин: – Так сделайте это! Сейчас же, при всех нас – вполне вменяемых свидетелях. Кто будет вам ассистировать? Выбирайте.

Я заколебался. Лагерный майор явно согласился бы, но мне захотелось пойти «ва-банк»:

– Я выберу из рублёвой пачки лишь одну купюру и положу её на ваш стол, Иосиф Виссарионович! – Впервые я машинально его назвал так вот, почти по-домашнему, но ни он, ни его команда, на это не обратили внимания. Всё напоминало сцену в «Kasino Royal», а ставку делал сам Джеймс Бонд! (*Это я, что ли!?*)

– Ну что ж, начинайте, а далее мы сами разберёмся, – произнёс Сталин, усмехнувшись в свои знаменитые усы и пыхнув в очередной раз трубкой.

Я взял давно расклеенную пачку «сторублёвок», вынул один листик, аккуратно положил на краешек сталинского стола и отошёл метра на полтора. Сталин посмотрел на меня, на помрачневшего Мессинга, на Лаврентия Павловича и затем коротко взглянул на всех остальных:

– Так кто желает испытать Судьбу, товарищи?

Секунду все молчали, а затем дружно сделали шаг к столу!

Сталин: – Как я понимаю, все готовы участвовать в опасном, но чрезвычайно интересном эксперименте. Не так ли, товарищи?!

Прозвучали многочисленные голоса: «Так точно, товарищ Сталин!»

– И никто не боится?! – спросил Сталин. – Так, что говорил наш Чапаев, где должен быть командир при преследовании врага? – наклонившись к столу, Сталин быстро протянул руку к банкноте.

Все затаили дыхание. Лишь я и майор из лагеря, проявляли здоровое любопытство исследователя, позабыв кто был «лаборантом»!

...Оказавшись в руке Сталина, банкнота слегка зашевелилась и, словно в руке фокусника, стали появляться стандартные довоенные «сторублёвки». Это не было столь ошеломительным, как на столе лагерного майора, да и энерговыделения, как ранее, почти не было. Сталин не без восхищения смотрел на свою руку, цепко держащую

деньги. *Не исключено, он и в жизни (советской, разумеется) не часто их держал – было кому считать деньги и расплачиваться...*

Взгляд ко мне: – Так всё и было, я ничего не испортил?

– Нет конечно, товарищ Сталин. Теперь их можно вернуть в исходное состояние. Разрешите? – Я протянул было руку, но Сталин отвёл свою в сторону и приказал:

– Достаньте, пожалуйста ещё листок, а может и побольше – увеличим число опытов! Не всё учёным трудиться, и мы внесём свой вклад в науку о Будущем! – Вы согласны, Лаврентий Павлович?

– Я послушно вытащил ещё три купюры и разложил их рядком на краю стола...

Берия: – Разрешите и мне, товарищ Сталин!

Голоса: «И мне. И мне».

Кто-то поднимал руку, кто-то уже подходил к «рулетке», но Сталин остановил всех, махнув своей трубкой, и позвал меня:

– И что происходит дальше?

Я попросил повторить опыт со вторым листочком, и как только он «размножился» в руках Вождя, протянул к полученным «соткам» свою руку и они опять, как и на Вишнёвых Горах, превратились в листок «стотысячной» банкноты. Снова несильно пыхнуло жаром, и в кабинете установилась абсолютная тишина. Все ждали финала. Что-то надо «постановлять» и принимать особые меры. Но какие? Молчание нарушил Сталин:

– Здесь прозвучала неплохая, как мне кажется, идея о посылке экспедиции в «Новое Время»... Давайте её проработаем более подробно. Я думаю, товарищ Майор сможет её возглавить, а по возвращении он должен стать полковником, не правда ли, товарищ Берия? – Берия кивнул. – Ну и хорошо. Вы оба проработайте все детали, а мы пока с нашим первооткрывателем выясним некоторые частные вопросы. Все свободны! Прошу вас, Иван Денисович, к столу!

Я присел, как говорят о робких чиновниках, на краешек стула, и мы не менее получаса обсуждали важнейшие для Вождя проблемы. Я пообещал никогда – ни в Настоящем (каком?), ни в Будущем (а будет ли оно у меня?) не разглашать наш разговор и не собираюсь делать это и сейчас. Как бы я не относился к Сталину как политику, слово я дал искренне и честно, увидев душевное волнение в его глазах – глазах и Политика, и Человека, да простят меня современники. И мы расстались... Я надеюсь – навсегда...

Возвращение

Майор проявил весь свой организационный талант, и через два дня мы вернулись на Вишнёвые горы с новым «Поручением Стали-

на». Первоначальная (*сталинская*) идея была гениально проста и дьявольски невыполнима! Во-первых! Где я, при падении с вершины сопки, прошёл через «*межвременной барьер*»? У какого куста? У какого камня? Посему порешили – войти в «точку выпадения» с сопки на придорожье и шаг за шагом, не торопясь, проделать обратный путь. «Де жа вю» должно нам помочь!

...Из лагеря №13 на знакомом мне «виллисе» выехало трое: я, майор и.... Вот тут я и удивился, и обрадовался, и испугался – к нам в компанию включили уже знакомого мне Ильича, того самого «смотрящего» из моего эковосского барака! Матёрого уголовника! «Весёленькая компания» – ничего не скажешь. Уж ни к кому из них поворачиваться спиной точно нельзя, да они и «с лица» могут и застрелить, и зарезать.. Да мало ли у них лагерного опыта!

Проехав знакомой мне раздолбанной извилистой дорогой от вокзальчика, где меня «взяли», около двух километров – столько я *пробежал-прошёл* после «выпадения» с сопки, я остановил машину, как мне показалось, у того самого «бобслейного» спуска, по которому я выкатился с горки. Да, это он самый! Ни рядом, ни в километре дальше ничего похожего не было. Пора подниматься. Перед подъёмом я осмотрел всё своё добро. Пистолет, возвращённый мне уже в гостинице, был предусмотрительно разряжен. *Ладно. Но запомним.* Меня тоже ОНИ побаиваются и не очень уж и доверяют. Оба «мобильника» (с запасёнными батарейками!) и все карточки – на месте. Пачка «евриков» – тоже. А вот «доллары» и «рубли» остались в кабинете Сталина! Он сам предложил мне внести их в «фонд Победы», что я и сделал. Всё это я изложил «подельникам» – членам экспедиции. Ярость их меня не удивила, но от моего предложения обыскать меня, они гневно отказались.

Впереди шёл я, за мной «Ильич», в шаге за ним – Майор. Хождением наше *ползание-цепляние* назвать было нельзя. Несколько раз то один из нас, то все сразу срывались и скатывались вниз до следующей зацепки.

Растаявший лёгкий снежок превратил нашу трассу в скользкую канаву, *какой она была и при моём «сходе»*. Но мы ползли. Вначале по промоине, на которой завершилось моё прошлое падение. *Я насторожился...* Тело «вспомнило» все эти змеистые повороты, которые должны были кончиться через несколько метров. Далее, на более крутом участке должна быть какая-то особость – природная или моя личная – которая изменила движение вниз. *Ну конечно!* Я же летел вниз вместе с «живым» камнем. Помню, такой остроугольный. Он должен где-то проявиться. Спутники недалеко. Я старался не слыш-

ком отрываться от них. Их рюкзаки (с едой или оружием?) не были подспорьем в подъёме – это я как бывший горный турист хорошо знаю. Разглядев их задумчивые силуэты, я развернулся и вновь пошёл вверх. *И тут же увидел «свой» стартовый остроугольный камень, оживший под моей ногой несколько месяцев назад.*

Теперь он хорошо устроился у какого-то корня и как-будто ждал меня... «Ну что, друг! Лежишь?» – произнёс я и пнул его легонечко ногой.

А дальше случилось именно то, чего вы, уважаемые читатели, давно ожидаете!

Словно Анаконда обвила моё тело, всё пространство стало беспредметным, как на полотне изошрённого пуантилиста. Цветные точки, как пиксели на экране монитора, замелькали, задвигались, образуя хитрые узоры. Ноги мои уже давно не ощущали природной поверхности. Я летел или стоял или плыл – всё под вихревой шум или вихревую бесшумность... И вдруг остановился. «Анаконда» сжалась или пресытилась мною и ...отпустила.

Я «стоял, опершись на неглубоко закопавшийся остроугольный камень. Откуда и когда он появился здесь? Скатился с верха сопки? Во время дождя или грозы... Подмываемые потоком дождевой грязи, такие камни-одиночки постепенно спускались вниз – по потоку и, помимо своего желания, сползали, скатываясь вниз от одного уступа к другому...» Эти слова мною уже проговаривались! Полное «де жа вю»! Я быстро отдёрнул ногу – не дай Бог повторить падение в «Прошлое»! Но тут зазвонил мобильник:

– Денисыч! Ты что пропал? Мы с Ильичёвым с ног сбились. Что там у тебя? Пожар, говорят. Это правда? (Это был голос Майорова). – Мы найдём виновника и накажем. Ты нужен здесь, на базе. Новая «Тема» открылась. Фантастика просто. А ты – самый козырной.

Голос Ильичёва: – Иван Денисович! Не гужуйся! Не ты один по непонятке живёшь. Бывай... До встречи! – *Отключился...*

Из Пояснительной Записки к Программе «Проникновение»

«Образованная спонтанным саморазвившимся ядерным взрывом волна ослабляет связи первичных материй и первичных полей, и из-за этого начинает распадаться первичная структура *Пространства* и *Времени*. В среднеуральской Катастрофе 1958-го года самосотворённые Сингулярности перехода из «ДО» в «ПОСЛЕ» сохранили внешние формы природных артефактов. Сосуществование различных временных континуумов было реальным, но не обнаруживаемым в реальности. Проникновение биообъектов через межвременные барьеры «Будущее–Прошлое» или «Прошлое – Будущее» («ТРАНСФЕР»)

доступно не для всех... Возраст, биоаномалии (в том числе болезни) и социально-психологические свойства могут «запретить» трансфер».

...Ничего этого я не знал в момент «возвращения» – *перехода из «Прошлого» в «Будущее»*. Исходный – переход (из Будущего в Прошлое) я проделал «машинально, неосознанно и случайно»... Считать *случайной* мою встречу с остроугольным камнем, по-видимому, это и есть моя собственная «красная кнопка» – нельзя: я его «узнал», а вот контакт с ним (то есть ПИНАНИЕ) было машинальным, хотя и случайным... Я мог бы просто и погладить его по головке или плюнуть на него в сердцах: *всё-таки упал я то ли из-за него, то ли благодаря ему?* А вот что произошло бы при иных воздействиях – надо бы проверить особо. А куда подевались в итоге мои спутники-проводящие из «сталинского» времени? И случаен ли «встречный» звонок моих «закрытых друзей» из моего – то есть Будущего Времени?! И, наконец, случайны ли их имена – «Майоров» и «Ильич»? Не те ли они «знакомцы» из «сталинского» лагеря? То, что я их не признал в лицо сразу, объяснить не могу, но теперь-то, «апостериори» – я готов не усомниться. Действительно, напоминают... А по деловой хватке, по решительности, безжалостности и жадности – *абсолютно они*. Но *«мнение – на нашем, мелком, уровне – не доказательство»*. Так где же они всё-таки... *Неужто у них есть свой канал «проникновения»?* Стою я и размышляю, а снизу, с подножия «моей» Вишнёвой Горки настойчиво надрываются автомобильные гудки, да не один, а по крайней мере два. Оба давно знакомы! Басовитый – джип «Чероки» – это майорский, то есть майоровский, а повыше голосок «Тойоты» Ильичёва. И не спрячешься, и не убежишь. Надо спускаться к ним. Последнее (а так ли уж последнее) бессловесное «прощай» моей «остроугольной кнопке» и вниз, по пологому серпантину. Жизнь продолжается – очень надеюсь...

Сороковка

Пока, подобно горной козочке (*козлу, скорее*) вприпрыжку пробегал по извилинам тропинки, я всё пытался представить своих компаньонов «в натуре» пришельцами из Прошлого. А почему именно их, а, например, не кого-либо из Вождей? Их «побег» в «Будущее» был бы весьма интересен, если его сопроводить всякими обстоятельствами социально-политического характера. Тот же Л.П.Берия мог бы многое организовать в нашем *«податливом российском обществе»*. Что-то их всё-таки не пускало в мир новых поколений. Что же? А нет ли связи между «запретом» и «оставшимся сроком биологической или социально поддерживаемой жизни»? Это при движении из Про-

шлого в Будущее. А наоборот? Пустят ли «старика» в Прошлое? Пусть тряхнул бы стариной!?

А вот видны и мои «кореша». Они-то как раз пригодны для «трансфера» – и сильны и самодостаточны. Наверное, в прежней жизни им особенно ничто и не угрожало, кроме случайной пули. Им и здесь совсем неплохо. *Где же их собственный канал перехода?* Мой они почти наверняка выследили до конца!

Объятия... По стаканчику – за встречу. По второму за избавление от бед. По третьему за Будущее и за Прошлое! Это уже ближе к «теме», что ли? «Назад к сгоревшей лесопилке не едем, отстроим и тогда посмотрим...» Круто сворачиваем вокруг озера и вперёд – к «сороковке»!

Когда-то мощнейший химико-металлургический ядерный комплекс «Челябинск – 40» утратил своих заказчиков, расстался с амбициями сверхзакрытого оборонного предприятия и превратился в ординарное многоцелевое предприятие – город местного значения – не совсем ясного до сих пор статуса – не частное, не государственное, и не изолированное от внешнего мира и, вроде бы, не очень доступное для непосвящённых. Название сменил. На экономическом плаву его поддерживают преимущественно «левые» заказы и «тёмные» контакты с левыми посредниками. Прокуратура явно дремлет, а охранные структуры более озабочены охраной от прессы и слишком инициативных хозяйственников.

Наши «иномарки» проехали, не снижая скорости, через обе линии заграждений, и через пять минут мы сидели на втором этаже уютной пристройки к огромному производственному ангару. Судя по размерам, в ангарах собирали дирижабли нового поколения, да и не один сразу...

В директорском кабинете (*директором был, как я знал ранее, сам Майоров*) было пусто. Майоров включил проверку подслушки и блокировки всех информационных устройств... Короче, мы нацепили «колпак» и смогли говорить в открытую.

Майоров: – Денисыч, во-первых, давай разотрём всё по-честняку. Твоя лесопилка войдёт в строй через месяц! Все материалы, люди, техника – на подходе. С тебя – ни копейки. И наша совместная жизнь только продолжается. – *Я молчал, но не хотел не верить.*

Ильичёв: – Давайте, друганы, ближе к теме. Иван Денисыч, ты всё понял, что с тобой произошло в последний месяц? Ты где был в командировке?

– *В Москве.*

– *А точнее? В каких конторах?*

– *В Кремле и на Лубянке.*

Ильичёв: – А в Кремле никого особенного не встречал?

– *Ты что, сам там был?*

Майоров: – А ты ещё не понял? Мы в одной лодке плыли. И в лагере, и от Вишнёвки до Москвы и обратно. И у Иосифа Виссарионовича гостевали и деньги палили – помнишь?! И обратно на «Горку» возвращались... Только ты как-то испарился, а мы пошли своим путём! Совершенно другим, тебе неизвестным, а нами обкатанным десятки раз...

– *И где же эти пути? Я-то случайно наткнулся. А вы?*

Майоров: – Это особый разговор и не сейчас... Он впереди... Но сегодня базар иной и более актуальный – *нам предстоят пути в Будущее*. И их надо ещё найти, пути эти!

– Вы-то каким путём в Вишнёвогорск вернулись? Не моим же... И если у вас есть свои «окна» во Времени, то поделитесь, если вам это позволено. Если я в доле, то, как сами только что сказали – *почестняку*.

Майоров: – Всё правильно, Иван Денисович. *Слушай сюда*. Когда ты появился впервой и ошарашил нас не только деньгами, но и документами, доказавшими и мне, и всем, кому положено, и выше и, сбоку, что свершилось не менее фантастическое открытие, чем атомная бомба. Всех «затрясло» и страсти наверху раскалились добела. Но твой фокус с демонстрацией денег «достал и зацепил» Хозяина.

Он забил пожар на самом верхнем этаже, все получили по зырькам, хотя виновных и не искали. *Эзотерика, мистика, Шамбала, Николай Рерих...* Какие только имена не назывались. Даже всяких пророков стали вытаскивать из нор и нар. Но факты только у тебя! И всё «грубо и зримо».

Руководством Страны поставлена проблемная задача: решить, *что с этого открытия будет иметь Советская Власть и Красная Армия прежде всего*. И мудрый Сталин первый, так говорят наверху по крайней мере, предложил подключить к борьбе против фашистов «Резервы Будущего!» И, в частности, Валютные Резервы. Наша задача – организовать «Трафик» денежной массы – и рублёвой, и валютной из Будущего, хотя бы из XXI-го века, в XX-й. Абсолютно секретный, абсолютно безопасный и абсолютно эффективный. Более эффективный, чем пресловутый «Наркотрафик», созданный Властью на закате Советской Власти.

...Твоё окно решили законсервировать и оставить как контрольное для твоего личного пользования (по согласованию, сам понимаешь.) Наша группа – *первая* (я надеюсь, но скорее не единственная – при таких ставках о «честной» игре и мечтать нельзя).

Я слушал, не перебивая, наливался и гордостью, и обидой. Всё в

человечьем мире одностипно – сколько тысячелетий. Кто-то открыл новые пути, а кто-то поставил на этих путях пограничные столбы:

Майоров: – Нам предстоят пути в Будущее и их надо ещё найти, пути эти! На этот участок решили (*сам понимаешь, где решили*) поставить тебя. Ты среди нас самый грамотный. Пожалуй, самый инициативный, и вообще мужик башковитый. Вот ты и будешь осваивать сверхновый прибор для обнаружения «Провалов Времени».

Ильичёв: – Это так теперь называют твоё и наши «окна».. Придумали термин те же умные разработчики с одной сверхзакрытой «шарашки». Опытный образец осваивать будешь ты. Полюбуйся! *Можем работать, когда прижмут сверху!* Он протянул мне маленькую коробочку, в которой лежал самый настоящий «хэнди», только не нашего, а японского производства. – Сам понимаешь, внешность, как и положено, обманчива: это и есть новоизобретённый «Искатель-43». Принцип и инструкцию – переписать не дали – пришлось мне учить наизусть!

Ильичёв начал *тараторить механически заученные фразы и непонятные ему понятия...* Прodelал он это раз десять, пока я не понял все детали обращения с «хэнди» и даже принцип устройства и работы. В основу был положена *ультразвуковая локация* – та самая, что позволяет летучим мышам летать в темноте, а дельфинам – находить в океане косяки съедобной рыбы. Отличие – собственно изюминка – была в том, что подобраны были такие комбинации частот и амплитуд ультразвука, которые при столкновении с *межвременным* объектом *обратно не отражаются* на экран прибора... И «поисковик» обнаруживает на фоне обычных «экраннх фантомов» – мёртвые зоны. Ультразвуковой луч как бы уходит в Иное Время и не возвращается на экран «Искателя-43». С таким «Времяискателем» можно, как я понял, даже выявить человека (или любое иное животное!) из *иного(!)* Времени.

Но что-то уж слишком оперативно и в уж слишком современном мне дизайне была сработана эта машинка! И проста ли это?

Оперативка на «Сороковке»

Ильичёв: – Пока тебя таскали по московским «пенатам», мы рванули по окрестностям «Сороковки», по радиоактивному следу, искать подобные гео-временные аномалии. Искать намёки о них во всём, даже в быту, даже в женском трёпе. Все пивные в округе Вишнёвки заполнили «стукачами». Всех ребятишек, охотников и геологов и даже сбежавших от армии горе-инвалидов. И что ты думаешь? *Нашли!* Немного, но для начала достаточно. А начало положила говорушка Настя – десятилетняя внучка нашей квартирной хозяйки.

Майоров: – Мы, как приехали на «Сороковку», обзавелись, точнее

сняли на неограниченный срок, фатеру – пустовавшую, но приватизированную квартиру. Люди мы скромные, но не скупые. Контактные, но в меру. Приехали наладить новое производство «*мыльных пузырей*» в экспортном исполнении... Туфта, конечно, но не очевидная – все ксивы, патенты там, договора, юристы – *всё при деле*. А в «обеденный перерыв» можно и поговорить. «Сороковка» – специфический городишко... Здесь уже сколько поколений учат «бдить»! Объект «сверхномерной» был – щит Родины ковали. И под каждым грибком искали «шпиёна». Иногда и находили. Чаще жуликов и ротозеев. Но бдили из поколения в поколение. С колыбели охотились. А с компьютерными играми совсем оборзели. Детишки стучат на собственных дедов и бабок! Да ещё и анонимно – чтобы не выпороли!

Ильичёв: – Ну и на нас хозяйская Настёнка глаз бдительности положила. Пришлось пускать её в оперативную разработку – она у нас стала вроде *Тимурки*. Так однажды Настя-Тимурка нам и шепчет: «Вы, товарищи-господа Дяденьки никогда не ходите к закрытой свалке, а то нечаянно и пропадёте насовсем!»

Мы: «Это как насовсем? Умрём или заболеем?»

Настя: «Хуже того! *С этого свету исчезнете!*»

Мы: «Да брось трепаться... Так не бывает... Крыльев ангельских у нас нет, а до того света без них и нельзя!!!» (*подыгрываем мы ей*)... А девчушка аж сердчат: «Большие, а ещё глупые... Просто так – вот были, и вот – нет... И всё!»

Мы: «А огонь-то был?» – Девчушка от сердистости чуть не в слёзы: – «Да какой огонь?! Даже вздохнуть не успеете! Раз и...нету вас»...

Мы: «Ты что, сама что ли видела? Проводила что ль кого на тот свет?» – Молчит, а на глазах слёзы... Чую – правдой пахнет. Как бы это не наше «оконце» кого-то заманило. Но подождали немного и заново подходим, издалека вроде: «А свалка это для кого – для всех открыта была?»

Настя: «Раньше для всех. Туда мусор сносили. Всякие железки, доски. Мальчишки всё пули искали и ножи. Кто-то находил. А потом Колька из нашего класса – хулиган такой – (*она опять шмыгнула носом*) – полез подальше и...всё. Я за ним, зову. Нет и нет. И не отзывается, дурак. В прятки задумал играть. Меня пугать. Я взяла какую-то палку, чтобы проучить лешего. Только поднялась на кучу, а впереди...» – (И она всерьёз разревелась, минут на десять. Уж чем мы её только не отпаивали: и соками, и водой, и только *петси-кала* помогла успокоить).

Настя: «И только поднялась я на кучу, как впереди увидела чёрную воду... И никого! Ни Кольки... Ничего... Вода не колышется... И ничего в ней не отражается... Я вытащила из-под ног какую-то бутыл-

ку пустую и кинула в неё... И вода её ПРОГЛОТИЛА! Ни плеска, ни волны... Раз и... нету! Жуть...»

Мы: «А что взрослые говорили?»

Настя: «Да что я, дура что ли? Взрослым разве можно по правде что говорить? Начнут проверять. Оперу стучать. Знаю я их манеру противную».

Мы: «Ну ты уж не больно нас всех чохом обижай. Бывают, конечно среди нас и дураки. Это точно. Но не все. Мы-то вроде как тебе кажемся?»

Настя: «Вы-то как раз разные от них, потому и рассказала всё... Да, я ещё про бульдозер не рассказала!»

Мы: «Какой ещё бульдозер? Тоже пропал?»

Настя: «А вы уже слышали? Тогда не буду...»

Мы: «Да ты не тараторь, а то нам скоро пепси-колу из-за тебя пить надо будет». (Засмеялась. Ну, и пугём. Снятие детских показаний – дело тонкое).

Настя: «Прислали на свалку бульдозер, чтобы всё собрать в кучу, разровнять и сверху засыпать землёй. Чтобы не воняло вокруг и кошки с собаками и с дрянными всякими заразными птицами, да, и с крысами! Сама видела воот такую! Чтобы всякая дрянь там не копалась и заразу не разбрасывала. Приехал новенький, жёлтый, весь красивый бульдозер, говорят, японский, а на нём шофёр. Тоже ничего. С усиками тоненькими. Как цыган, чёрный. Стал он опаживать всю свалку, всё подбирает, кучку за кучкой всё к серединке. Работает – работает, а горка мусора никак не растёт. Тогда это «цыган» как рассердился на нас, что мы вокруг стоим и смеёмся. Разогнался и залез на своём «японце» на самую верхотуру. Вылез, обошёл вокруг бульдозера, полез его выключать или задний ход давать, а бульдозер вдруг качнулся вперёд – назад, влево – вправо и стал... проваливаться куда-то! Цыган выскочил, а бульдозер всё ниже и ниже... Мы все отбежали подальше, но одна я только почти поняла, в чём дело: *чёрная вода проглотила* бульдозер. Потом приехали начальники. Измеряли какую-то активность. Кричали друг на друга и все вместе на цыгана. Вызвали милицию. Всю свалку опутали колючей проволокой и всякие страшные знаки поставили, как пираты карибских морей. А цыгана арестовали за *ухищение* бульдозера в своих личных целях – вот какие дураки взрослые бывают – какой он *ухищник*. Слава богу, живой остался».

Мы: «И где же он теперь?»

Настя: «Кто, цыган, что-ли? В лагере, конечно, где же ему теперь быть, болезному».

Мы: «Да нет, где бульдозер? Нашли его?»

Настя: «Да нет, он *на том свете*, и всё. Не понимаете, што ли? И она спешно начала допивать оставшуюся пепси-колу».

Майоров: – Похоже, след цыганов и бульдозеров не затерялся, а обнаружился в наших, советско-сталинских временах. С цыганом получилось несколько неудобно. Пока мы его выявляли, наши костоломы чуток его «за несознанку» повредили, так что он сейчас залечивается чуть ли не в Кремлёвке – в отдельной палате под охраной. А японский бульдозер уже работает на благо своей новой Родины...

И н о в р е м я н е

Ильичёв: – Возникла новая проблема – у нас появились «конкуренты»! Кто они? Не из наших времён, это уж точно. Какие-то «ино-временяне». Пока не мешают, но, похоже, присутствуют... Надо ещё научиться их распознавать. А как? А распознаешь, то что далее? *Ликвидировать?* И сможем ли мы это сделать? А что затем будет с нами? С нашим Делом, с нашим Трафиком? Нужны свежие головы, но тогда полетит к чертям «секретность».

Майоров: – Как бы и нам не пришлось внедряться в их межвременную систему. В отличие от «Атомной Бомбы», в этой сфере практически нет ни одной теоретической разработки. Не вызывать же сюда Альберта Эйнштейна. Я слышал, он нам и так уже *с довоенных лет помогает*. А вся открытая литература – графоманская фантастика, и не более. Хотя и там могут встретиться разумные идеи. Но чего больше – жемчужных зёрен или дерьма? И, самое главное при этом – *как их различить?*

Из Пояснительной Записки к Программе «Проникновение»

«...Проникновение аборигенов Будущего через межвременные «окна» станет напоминать обычные межграницные контрабандистские акции, как «дикого», самодеятельного, так и организованного (*силами государства!*) характера...

«Разоблачение» Пришельцев из Будущего возможно вследствие реализации казуса «**Мессинга – Ивана Денисовича**» – выявления отсутствия «Астрального Тела – Души» у объекта трансфера...»

Я: – Так когда начнём работу?

МАЙОРОВ: – Да прямо и начинай сейчас же... Здесь же, на «Сороковке»... Считают, что здесь этих «окон» – «*Провалов Времени*», порождённых субатомным взрывом, может быть немало. Только успевай открывать да на карту заносить. В твоём распоряжении – квартира, машина, оружие и полный кошт. Извини, но ни денщика, ни охранника тебе иметь не разрешили – для пущей секретности. Связь держим ежедневную. Иди, обустраивайся, а мы к тебе на лесопилку – у нас она и будет ключевой *экономической* базой.

Иван Денисович – в поиске

Опять расстались. Опять я один. Опять впереди туманное «поле чудес!»

Достав карту-схему «Сороковки» (туристскую, кстати!) я стал често умозрительно представлять: где и в каких направлениях могли активно действовать радиационные потоки.

Я уже точно знал место эпицентра – первичного выброса радиоактивного облака. Знал я (уже многие годы) основное направление полёта «Облака» над Уральскими горами. Вот по *оси этого полёта* я и решил вести свой поиск «Провалов Времени» внутри городка.

По прямой от эпицентра мне далеко пройти не удалось. То стена дома останавливала, то пост ГИБДД (вблизи него доставать «Поисковик – 43» я уж и не рискнул); то глухой лесопарк, весь огороженный бетонным забором – попробуй перелезь через заграду, если поверх неё, помимо обычных обломков стекла, повисла свежоцинкованная пружинистая колючая проволока.

Да ещё всёвидящие камеры, явно контактирующие с охранными острозубыми безжалостными ротвеллерами. Но *«пропавшее время»* само не захотело совсем уж ускользнуть от меня.

Проходя мимо рекламной тумбы, я услышал «зуммер» моего электронного «соискателя». Надо было бы выгнать его из кармана и взглянуть на экран, но «Чревато!». Снующие мимо люди могли и полюбопытствовать. И куда я убегу? Не далее КПЗ. Ждём ночного времени. Примерно через километр, вблизи свежоокрашенной «пивнушки», мой «Поисковик» вновь «запел». От озера «Кыштым» мы уже довольно удалились, но звук был и чёткий, и сильный.

Иду в павильон: беру пару кружек пива и, как воблочку, какую-то озёрную вяленую мелочь. Мужичок за стойкой выбрал мне пару рыбок, одна из которых чуть вздувалась от переполнявшей её икорки. *Совместим дело с удовольствием*, да и прикрытие вполне респектабельное. Можно было бы и водочки грамм сто пятьдесят, но отложим пока что «развращение духа и тела». Достал записную книжку. Рядом – «Искатель-43»... Начал, хлебнув предварительно пару глотков, отстукивать воблочку. Стучу, хлебаю, книжку листаю и телефончик якобы набираю. Проворачиваю прибор и... *натыкаюсь на «провал»!* Где-то с левого угла, там, где спускается с крыши павильона водосточная труба. И в землю утыкается прямо. Вода как будто прямо в тёмное пятно на экране ныряет.

Пока я, как мне показалось, «изящно» совмещал «необходимое» с приятным, раскрылась дверь, и из неё вышел, но не бармен, а кто-то иной. Скорее *китайского*, чем российского вида, невысокий мужчи-

на, тоже в фартуке и фирменной фуражечке. Машинально повернул я «поисковик» на «китайца» и... прибор «зафонил»!

Пока я ошалело соображал, что это значит, китаец приблизился и спросил, «не хочу ли я ещё чего-нибудь? Мы сколо, исвините позлуста закальваемся...» Пришлось попросить ещё и водочки. Пока она шла, я собрал всё со стола и изобразил «томление алкаша ввиду подносимой водочки!»

На этом представлении я и закончил свой первый трудовой день в «Сороковке».

По крайней мере мне так хотелось и казалось. А для пущей надёжности, я повернул к центру города, затем взял такси, потом пересел на другое, потом попетлял пешочком и, позвонив подельникам, назначил им «свиданку» где-то у кинотеатра «АРС». *Это был наш первый «контакт» с «иновременником», но, увы, далеко не последний.*

В Центр – от Майора. Рапорт -Донесение

В соответствии с разработкой, провели поиск «провалов времени» и, благодаря усилиям «Умника», обнаружили два канала. На месте «каналов» организованы и приватизированы подсобные строения, организовано охранение и видеонаблюдение, обеспечена возможность начала «Трафика». До освоения решено поиск новых каналов прекратить. Все наличные возможности привлечены для обеспечения транспорта минимально необходимого количества валюты. Для выполнения поставленной Командованием задачи – «Миллиард» – открыта сеть валютных ипотечных банков и организован «внутривременной» трансфер. Есть предложение («Умник») наладить сеть целевых банков за рубежом... Накопленные в них средства «одноментно» переправить в Прошлое на покрытие текущих военных расходов и частичную компенсацию расходов по Лендлизу. Создаётся «Институт Олигархов» – единоличных владельцев капиталов – могущих без лишней бюрократии и бесконтрольно обеспечить Трафик валюты в Прошлое... Рассматривается несколько одиозная идея – использовать для Трафика валютную бумажную массу, прошедшую (формально) юридическую «ликвидацию», но физически не уничтоженную... Пока эта масса «списанных» денег используется лишь криминальными сферами. Трудности транспортировки внутри «единовременного» пространства в принципе уже решаются, но требуется расширить состав Группы.

Впервые выявили Иновременника. Вызывает озабоченность появление «иновременя» предположительно китайского облика. Образец первого из них переправляется незамедлительно по старым «окнам» для оперативной разработки. Прошу сообщать результаты. Прошу

рассмотреть возможность перевербовки, но вызывает опасение национальная специфика объекта. Прошу провести поиск НАДЕЖНЫХ кандидатов в качестве разведконтингента... *Майор.*

Центр. Майору. Распоряжение

Поздравляем с присвоением звания «ПОЛКОВНИК». Доставленный вами «иновремянин при разработке» **самоликвидировался**. Необходимо осуществлять непрерывное отслеживание, захват и переправку всех обнаруженных «иновремян». При оказании сопротивления – ликвидировать, обеспечивая абсолютную скрытность операции. Во избежание *психоделического* воздействия, исключить прямой контакт членов вашей группы с «иновремянами». *Высылаем группу ликвидаторов...*

Галина Фирсова

ЗИМОЙ В ГОРАХ

Зимних гор золотятся вершины.
Вы бывали зимою в горах?
Притаились на склонах лавины,
И восторг вызывая, и страх.

Здесь озябшие ветки умело
Обернул мягким пухом мороз,
И затейливым кружевом белым
Одарил стайку горных берёз.

Сникли елей мохнатые лапы,
Знать нелёгок их снежный наряд,
Будто стражи в сверкающих латах
Вдоль накатанной трассы стоят.

Лыжи с места сорваться готовы,
Напружинено тело струной,
Я ликую от дерзости снова...
Как давно это было со мной!

И с лихой запоздалою страстью,
Снежный вихрь унося за собой,
Я качусь по хрустящему насту.
Этот миг мне дарован судьбой.

Не пугают ушибы, паденья,
Самый сложный вираж по плечу.
Сохранить бы полёта мгновенья.
Будь, что будет, а я — лечу!

ВЕСНА

Растолкало солнце тучи,
И, стремясь с тепла потоком,
Заглянул в глаза мне лучик
И погладил ненароком.

Я поймать его хотела,
Подмигнул он мне лукаво,
Заскользил по телу смело,
И теплей на сердце стало.

Сон стряхнули липы, клёны,
Почки лопнули и, чудом,
Стало всё вокруг зелёным,
Словно россыпь изумрудов.

Луч взлетел по веткам косо,
Стал на миг он дирижёром,
Гимн весне разноголосо
Птицы вдруг запели хором.

Захотелось мне смеяться,
Позабыв про возраст, холод,
Буйством жизни наслаждаться,
Вновь почувствовать, что молод.

И лучу я, по секрету,
Прошептала: « Лучик, милый,
Сделай так, чтоб чувство это
Никогда не проходило. »

СЛУЧАЙНЫЙ ЗВОНОК

(пятнадцать лет спустя)

Серый день февраля,
снега грязная слякоть,
чёрным когтем скребёт
голый клён по стеклу.
На душе та же серость,
и хочется плакать,
беспризорным котёнком
потянувшись к теплу.

Мир свернулся в клубок
из обид и сомнений....
Вдруг взорвал тишину
телефонный звонок,
нарушая гнетущее
чувство забвенья,
неожиданный, резкий
на спасенье намёк.

Голос вежливый тихо
сказал: «Добрый вечер!
У меня разговор,
разрешите зайти?»
«Нет! – кричу я умом, –
ни к чему ныне встречи»
И спешу веский повод
для отказа найти.

Но слова, против воли
срываются в трубку:
«Хорошо, заходи,
если время не ждёт...»
Ты зашёл поболтать,
невзначай, на минутку –
Мы потом потеряли
дням и времени счёт.

Помню, чайник на кухне,
свистя, надрывался,

жёлтый глаз фонаря
зависал над окном.
Ты рассказывал что-то,
шутил, улыбался,
наполняя стаканы
прянокислым вином.

В предрассветную мглу
прорывались снежинки,
Плавно таял в душе
леденящий комок,
и невидимой глазу,
седой паутиной
нас связал тот случайный,
тот счастливый звонок.

МЫСЛИ ВСЛУХ

*«Один припев у мудрости моей:
Жизнь коротка, – так дай же волю ей»*
Омар Хайям

Читая строки мудрого Хайяма,
Окину взглядом сонм ушедших лет,
Там грёз напрасных и обид обманов
Едва заметный различаю след.

Я не могла себе позволить слабость,
Кипела в суете бегущих дней,
Всего важней всегда считала радость
В глазах своих любимых сыновей.

В мой тесный мир, запутанный и сложный,
Ты шёл, как гость, не ведая ещё,
Что станет мне опорой надёжной
Подставленное вовремя плечо.

На миг застыв, как над стаканом чая,
Когда так хочешь пить, но, горячо,
И пальцы все, и губы обжигает,
Но делаешь глоток, потом ещё...

И убежавшей юности вдогонку,
О днях бесцветных больше не скорбя,
Помчалась я по оттепели звонкой,
С доверием – надеясь и любя.

Покинула душевная усталость,
Исчез тревожный паучок-испуг.
И поняла я, как мне не хватало
Заботливых, надёжных, нежных рук.

Я обрела способность на рассвете,
В глазах любимых солнца луч ловить,
Ценить, как редкий дар, минуты эти,
Быть женщиной, и просто слабой быть.

Испытывая жажду наслажденья,
Взрываться ярким фейерверком чувств,
Впитав в себя, хотя бы на мгновенье,
Вкус молодости и свободы вкус.

Жизнь коротка, ты прав, Хайям, и всё же,
Прожить без сожаленья этот миг,
Дать волю жизни тот, пожалуй, сможет,
Кто мудрость этой мудрости постиг.

И улыбнувшись в зеркало, украдкой,
Лукаво подмигнув самой себе,
Поправила седеющую прядку,
«Спасибо!» – прошептала я судьбе.

БЕРЁЗА

У пруда берёза на колени стала,
И полощет косы жёлтые устало,

С грустью наблюдая, как во тьме глубокой
Нитка золотая тонет одиноко,

Белый стан в морщинках над зелёной гладью
Распластался низко, в тёмный омут глядя.

В нём плывут виденья длинной чередою:
Выглядит берёза стройной, молодою,

Дарит ласки ветер шелковистой коже,
И качает ветви с гроздьями серёжек.

Тянутся влюблёно к ней дубы и клёны,
А она зелёной им кивает кроной.

И склонившись низко, жадно пьёт берёза,
Вместе с влагой чистой сглатывая слёзы.

Верится берёзе – чудо вдруг случится,
И она, как в грёзах, сможет распрямиться,

Вновь распушит косы, солнцу улыбнётся,
И былая лёгкость снова к ней вернётся.

Борис Э. Альтшулер

ПОРТРЕТ ОТЦА

Соломон или Салик, как называли его друзья, остановился у двери с табличкой «Отдел кадров». Постучал. Не услышав ответа, открыл дверь и просунул голову. Инспектор, Наталья Матвеевна, лениво повернулась и через сонную одурь, моргая белесыми ресницами, нехотя выдавила:

– А, это вы... Нет-нет, подождите в коридоре.

Салик отступил в коридор, в пыль, в духоту. Через полчаса, тяжело ступая, прошла Наталья Матвеевна с листком бумаги в руках. И снова потянулось томительное ожидание, столб пыли в солнечном луче прошёл уже добрых полметра. Не выдержав, Салька рванулся на лестницу покурить. Сделал это он крайне неудачно и чуть не зашиб бедного инспектора, мило болтавшего в коридоре с секретаршей. Вскоре его вызвали. Наталья Матвеевна достала бланки, здоровущую амбарную книгу, печать.

– Подпишите здесь, здесь... и ещё здесь.

Наконец-то у него в руках был допуск к архивным материалам: попросту говоря, официальная бумага с места работы, заверенная всеми штампами и круглой печатью – волшебная бумага, которая открывает дверь в прошлое.

На улице нещадно палило, поэтому пришлось снять пиджак. Бросив взгляд на часы, Салик почувствовал голод и завернул в „Ниццу“. Там он съел порцию мясного салата, выпил кофе с рогаликом и направился к остановке троллейбуса. Архив в Задвинье резко выделялся на фоне маленьких домишек, трамвайной линии и зарослей кудрявых зелёных каштанов. На проходной у него забрали бумаги и отправили к начальству. Начальство шлёпнуло штамп в левом верхнем

углу – и Салька вошёл в архив. Фонд... Дело... Набралась целая куча материалов военных лет: документы, книги, фотографии, листовки, афиши, приказы немецкого оккупационного командования. Работы предстояло порядочно. Пахло войной: казалось даже углы книг и края страниц покоробились от огня, обуглились, а не просто составились в папках. Чем больше Салик копался в документах, тем более крепла в нём почему-то уверенность, что уж сегодня он точно найдёт что-то особенное. Вновь вспомнилось сиротское детство. Сам этого не помнил, но знал, что был одним из самых маленьких выживших узников Рижского гетто. Маленький Соломон чудом уцелел во время расстрельных акций. Мать разыскала его после войны, но, пройдя гетто, лагеря Штуттгофа и Бухенвальда, тяжело болела и прожила недолго. Сальку взяла к себе тётка.

Отец, отступавший с Красной Армией, попал в плен к нацистам где-то на островах в Эстонии, оттуда – в концлагерь Саласпилс, где немцы его в конце концов повесили. Дома, в тощем альбоме с отвалившейся обложкой сохранились несколько фотографий матери, но только одна фотография отца, сделанная, как значилось вверху, в Риге в фотоателье на улице Дзирнаву в 1931 году. Она надломилась в нескольких местах, но лицо можно было ещё распознать.

Звонящая, неожиданная тишина после короткого, тяжёлого и безнадёжного боя давила на уши, мозг, стискивала грудь. Дымились стволы пулемётов, тряслись от напряжения руки и ноги у красноармейцев, а по пологому склону дюн уверенно поднимались немцы. Где-то на середине подъёма они спустили с поводков четырёх громадных овчарок. Вздумавших сопротивляться расстреляли на месте; оставшихся – человек двадцать пять – построили в шеренгу. Тяжело раненых деловито оттащили в сторону и добились выстрелами в голову.

– Ну и бойня, – с тоской подумал Салькин отец, стараясь не глядеть на трупы. – Не хватает лишь мясников разделать туши.

Несколько военнопленных покрепче рыли могилы. Вдоль шеренги прохаживался самодовольный унтер-офицер с переводчиком:

– Жиды и комиссары, два шага вперёд!

Ни звука, только шумит морская волна невдалеке, да комариный звон. Тишина обволокла руки, ноги, душу, голову. Молчит шеренга.

– Жидов и комиссаров нет? Предупреждаю, ложь приведёт к смерти десятерых из вас.

Так, в тишине и страхе, военнопленный Салькин отец оказался на короткое время в Центральной Рижской тюрьме. Его не выдали, но страх всё глубже въедался в душу. С каждым новым подаренным днём

жизни он всё больше боялся при случае оказаться без исподнего. Неделями не мылся в тюремной бане, был молчалив. Каждому, кто просил и не просил, отдавал свой паёк и то, что перепало из довесков. Выносил парашу, драил пол камеры, доставал сигареты – и больше всего боялся умереть, не повидав жену и сына. Когда-то прекрасная каштановая шевелюра поседела, грязные волосы сбились в колтун, он зарос рыжей клочковатой бородой, щеки ввалились. Хотя еле таскал ноги, глаза его горели лихорадочным напряжённым блеском. Некоторые заключённые его жалели и даже старались подкормить, но он так пугался, что сердце бешено вертелось колесом, и потом не мог уснуть всю ночь. Однажды утром за ним пришли, велели одеться. В камере понимающе переглянулись, у Салькиного отца вдруг отказали ноги, и тюремщики поволокли его по коридорам и по лестницам. Привели в комнату, не похожую на камеру пыток. Надзиратель опустил шторы. Вошёл оберштурмбанфюрер СС, долго смотрел на Салькиного отца, смеялся. Потом привели ещё одного человечка, тоже заключённого, распаковали ящик в углу, оказавшийся фотоаппаратом; заставили позировать на фоне грязной простыни. Сеанс длился долго, где-то часа три, так что даже и страх вроде бы поубавился. Под конец ему дали два куса хлеба и отвели назад в камеру. Через неделю, когда страх вновь стал глотать его сердце, надзиратель, принесший в камеру баланду, притащил с собой свёрнутый в трубку лист бумаги. Он медленно развернул его и расхохотался до слёз. На афише красовалась страшная морда на фоне живописно и аляповато выписанной горы человеческих тел, внизу на немецком и латышском было написано: **КАЗНЁН НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ, НЕСМОТРЯ НА НАГЛЫЕ ПРОСЬБЫ О СОХРАНЕНИИ ЖИЗНИ РУССКИЙ КОМИССАР-БАНДИТ! СВОИМИ РУКАМИ УБИЛ 250 ЧЕЛОВЕК, ИЗ НИХ 50 ДЕТЕЙ. И в самом низу: СООБЩАЙТЕ НЕМЕЦКОМУ КОМАНДОВАНИЮ О ВСЕХ СЛУЧАЯХ БАНДИТИЗМА. СООБЩИВШЕГО ЖДЁТ ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.**

Физиономия действительно была отвратительной: отвисшая челюсть дебила, лицо в струпьях, спёкшиеся заросли волос, глаза с застывшей нечеловеческой болью и ужасом. Это был Квазимодо «тысячелетнего рейха». Обречённый смертник. В камере стало тихо. Вскоре всех её обитателей перевели в концлагерь Саласпилс.

Громадная папка, завязки которой Салька с трудом распутал, хранила эту листовку-афишу. Развернув её, Салька вскрикнул, мгновенно узнав отца.

При мытье в лагерной бане естество выдало расу отца. Охранник-латыш действовал по инструкции, не оставляя заключённых без при-

смотра даже в душевой. Он-то и обнаружил еврейство узника. Вызвали начальника караула, офицеров охраны, позвонили коменданту и через полчаса тело с выпавшим языком, обдуваемое осенним ветром, качалось на виселице.

БРИЛЛИАНТЫ

Уличное кафе неподалёку от антверпенского собора Богоматери не представляло собой ничего особенного. Всё кругом походило на Старую Ригу с её серыми тонами. Похожее ощущение было у меня уже в прошлом, особенно когда я приезжал в Бремен – „мать городов ганзейских“ – по архитектурному примеру которого, говорят, и была выстроена латвийская столица. Я пью кофе из чашки с трещиной, – половина содержимого уже просочилась в тарелочку. Мои глаза устремлены на стодвадцатитрёхметровую башню собора Богоматери. В нём хранятся громадные алтарные фрагменты кисти Рубенса. Здесь, у собора, между Пеликаанстраат и Схупстраат, на трёх улицах около Главного вокзала, сохранилось то, чего больше нет ни в одном европейском городе – уже многие столетия там существует последний Еврейский квартал Европы: почти двадцать тысяч евреев, двадцать синагог, восемь школ, четыре бриллиантовые биржи, банки, бесчисленное множество гранильных и ювелирных мастерских. После войны здесь было намного больше евреев, потом люди стали уезжать в Израиль и в США. На трёх еврейских улицах старинного фламандского города через руки специалистов проходит больше половины бриллиантов, добытых во всём мире. Еврейский квартал, этот анахронизм, существует и сегодня добровольно, – никто строго религиозных евреев, харедим, туда не загонял, они отделились от окружающего мира сами. Город Антверпен на реке Шелде очень стар, он известен с VII-го века, когда завершилось Великое Переселение народов. С XIV-го века был членом Ганзейского союза, где постоянно боролся за власть и влияние со своим вечным соперником, другим прекрасным фламандским городом – Брюгге. По преданию, в античные времена на реке поселился злой гигант Другой Антигон, который терроризировал округу таможенными поборами. На бой с ним вышел римский воин Сильвиус Брабо, победил гиганта, отсёк ему после битвы руку и бросил её в Шельду. Отсюда, из саги, и пошло название этого города, которое в переводе с нидерландского означает «бросать руку»*. Кроме этой легенды существуют и другие, но все с тем же ампутационным сюжетом.

Рядом со мной сидят оружие и повсюду – даже на лице – татуированные матросы-англичане; упитанные, очень громкие, положившие на стулья свои шикарные рюкзаки и вечно считающие доллары американцы; высушенные от недоедания немцы, постоянно свёртывающие вонючие самокрутки с марихуаной. В стороне от всей этой братии, как райские павы, сидят смуглые индийцы в дорогих костюмах, шёлковых сорочках, блистающих ботинках, жующие поджаренных до хруста цыплят с перцем или фалафель. Почти все они приехали сюда вначале поодиночке, а потом скопом из Паланпура, западно-индийской столицы обработки драгоценных камней и торговли ими. Фламандцы называют этих индийцев «*Jains*», а те, молча и таинственно, контролируют уже добрую половину торговли алмазами и бриллиантами в Антверпене. Многие из них купили себе самые дорогие виллы в городе. В отличие от евреев, *Jains* кичатся своим богатством и выставляют его охотно на всеобщее обозрение. В свои руки они захватили огранку дешёвых бриллиантов, евреи занимаются сложными работами с большими камнями.

Африканцы обделывают делишки с анонимными и нелегальными «кровавыми алмазами», которыми финансируют свои войны на Чёрном континенте, в парках и на улице. Но это опасно, так как в конце такого бизнеса на свежем воздухе можно получить под ребро нож и остаться без кошелька или сумки.

Скуповатые фламандцы сидят в обеденный перерыв перед ма-стерскими, жуют картофельные чипсы и бутерброды, запивая их колой. Они глазеют на иностранцев из более чем сотни стран, живущих в их городе и дёргающихся от избытка энергии и денег. И уверены в том, что в один прекрасный день, когда все пришельцы чудесным образом исчезнут, наступит, наконец, время фламандского национального торжества. Наиболее толковые, однако, понимают, что такое торжество будет равносильно новому разгрому Антверпена и его бирж. В 1940 году, когда вермахт захватил город, нацисты стали искать еврейское сокровище, которое им было срочно необходимо для финансирования войны. Потомки старых антверпенских семей бриллианщиков, занимавшихся этим бизнесом уже многие поколения и столетия, были депортированы в концлагеря. Другие, поумнее и посчастливее, заблаговременно перебрались в подмандатную британскую Палестину и спаслись. Их предприятия стали фундаментом израильской бриллиантовой индустрии. Большинство торговцев алмазами и бриллиантами – строго ортодоксальные евреи в чёрных кафтанах и широкополых шляпах марки Borsalino, постоянно бегущие куда-то со своими чемоданчиками, прикованными наручника-

ми к запястьям. Согласно Галахе они обязаны совершить за день 613 «мицвот»**. Они и питаются особо, кошерно, в своих ресторанчиках, или бегут перекусить домой в перерывах. До вечера, однако, ещё много работы.

После войны бельгийское правительство было очень заинтересовано в быстром восстановлении разрушенной алмазной промышленности и торговли бриллиантами. Бельгийцы пригласили евреев вернуться и освободили поначалу продажу алмазов и бриллиантов от налогов. Для сохранения анонимности клиентов по старой сефардской традиции им дозволено записывать их в книгах под условным именем «дон Педро». 1200 еврейских фирм платят городу и государству немалые налоги.

По улицам Антверпена фланируют молодые женщины с потухшими глазами, погоняемые сутенёрами. Там, где блестят бриллианты, цветёт и проституция во всех её формах. Раньше в пивных у Главного вокзала, с бардачками этажом выше, уже к полудню настроение было как на картинах Брейгеля, – с музыкой из автоматов и пытающимися танцевать с забуддыгами. Сегодня всё ремонтируется, обрастает мрамором-гранитом и стоит больших денег.

За соседним столиком сидело несколько громких людей, говоривших по-русски. Русским было и содержание разговора: деньги!

– Вы, блин, должны нам ещё лимончик баксов! – сказал один из них, здоровый барыга с толстой золотой цепочкой на бычьей шее – с крестом, в малиновом пиджаке и оттопыренным мизинцем. Рукой с громадным золотым будильником и пальцами, унизанными толстыми кольцами, он повёл перед носами двух, как потом выяснилось, русско-еврейских эмигрантов, перебравшихся в Бельгию.

– Мы с вами давно уже рассчитались! – ответили евреи. – Это было при свидетелях. Вы продали, мы заплатили. О кей?

– Не-а! – сказал амбал. – Оказалось, мы продешевили. Так что с вас ещё лимон.

– Вы, что, считаете, что мы отойдём в сторону и напечатаем вам так, между делом, миллион долларов? Мы вам ничего не должны, всё было заплачено при покупке. О, кей!? Кроме того, где мы найдём вам деньги? Алмазы давно проданы...

– Тогда берите нас к себе компаньонами. И вам хорошо, и нам приятно. А то...

Здоровенный амбал провёл ребром ладони у себя по шее. Я потом ещё пару раз встречал на улице этих бедных ребят, бегающих по городу в поисках денег и защиты от русских бизнесменов-бандитов.

По-видимому, какое-то решение было всё же найдено. Рассказывали, что израильтяне повстречались с русскими и как-то на высшем уровне сумели уладить конфликт. Кто-то дискутировал вечером в пабе об алмазах КПСС, каждый размером не менее десяти каратов. Но теперь уже даже не эти громадные алмазы и бриллианты будоражили воображение специалистов. Из Австралии поступили жутко дорогие и очень модные партии «*fancy*» – красных, жёлтых, зелёных и фиолетовых бриллиантов, вызвавших в Антверпене ажиотаж. Всем бриллианщикам вдруг захотелось иметь только цветные камни. В довершение ко всему на рынке появились искусственные алмазы по советским технологиям, которые вывезли сюда эмигранты из научно-исследовательских институтов. Некоторым даже удалось привезти на Запад уникальное оборудование для создания искусственных драгоценных камней. Распознать искусственные алмазы для непрофессионала не очень просто. Стали рассказывать даже о модной кремации тела и создании бриллианта из человеческого пепла. Это так удобно: не надо расставаться после смерти, а усопший партнёр всегда с тобой на пальце...

Когда я следующим летом вновь заехал к друзьям в Антверпен, то застал моих знакомых в жуткой депрессии. Полиция нашла след контрабандистов драгоценных камней из России, шли судебные процессы, налоговое управление проводило реквизицию имущества, а один из наиболее солидных банков бриллиантчиков объявил о банкротстве. Люди шептались, что русская мафия отмывает бриллиантами «чёрные» деньги. Многие местные евреи куда-то уехали и синаги стремительно теряли прихожан. Я сидел снова в том же уличном кафе, что и год назад, пил из той же треснутой чашечки кофе, протекавший на блюдечко, – и вновь глядел на собор Богоматери. Мужчины за соседним столом заговорили со мной:

– Скажите, я ведь видел вас здесь в кафе год назад? Вы не были знакомы с мужчинами, которые вели переговоры с русскими?

– Нет, я тут проездом. Турист из Германии.

– А я почему-то подумал, вы были вместе с этими шмоками...

– Да нет, – сказал я. – Это у меня физиономия такая шпионская.

– Обоих парней, в конце концов, убили. Они были вынуждены взять русских в компаньоны, а потом их убили.

И тут у нас началась свистопляска: мафия-шмафия, банкротства, полиция, прокуратура. А наш бизнес живёт доверием; никакой прокуратуры, никаких судов, – у нас свои собственные суды чести. Если кто-то кого-то обманул или проворовался, то его имя, фотография и персональные данные вывешиваются на чёрной доске наших бирж

и вводятся во все компьютеры. Больше ему среди нас, бриллиантщиков, делать нечего. Но тут на нас навалилась какая-то напасть, просто какие-то звери, жуткие убийцы...

– Вы же считали совершенно нормальным покупать алмазы по дешёвке. Так чего же хотите? – ответил я. – Совсем тихо такая супердревява, какой был СССР, не умирает. Вы можете спокойно считать, что она ещё раз, уже после своей смерти, пёрнула здесь у вас, в уютной Фламандии.

Мы помолчали немного после этих моих грубых слов, заплатили за кофе и разошлись.

* «Hand werpen» (Ant-werpen) – «бросать руку».

** «Мицвот» (иврит) – «Богоугодных добрых дел».

ВИЗА

Позвонили из ОВИРа, а на другой день он получил оттуда ещё и повестку. На этот раз долго ждать в коридоре не пришлось, сразу пригласили в комнату. Строго одетая блондинка среднего возраста прочла ему документ, из которого следовало, что его советское гражданство аннулировано и ему разрешён выезд в Израиль на постоянное место жительства. Документ, с которым он должен был оставить СССР в течение десяти дней, был маленькой розовой бумажкой с паспортной фотографией.

Итак, наступил час разлуки! Он обязан оставить родину с её лесами, озёрами и морем, красивыми женщинами и хорошими друзьями. Но как это сделать? У него нет денег, у родителей нет денег, друзья, по их словам, давно разорены, а подпольные банкиры, перекачивающие своё состояние за бугор, хотели железобетонных гарантий в Риге и в Израиле.

Это было странное и новое чувство безденежности, унижения и разбитости, но знакомые диссиденты успокоили: деньгами на выезд помогает посольство Нидерландов в Москве, представляющее интересы Израиля в СССР. Согласно этой информации голландцы дают кредиты эмигрантам по заданию еврейского государства. Беспаспортному и лишённому гражданства Давиду теперь ещё оставалось съездить в Москву для получения транзитных виз на розовой бумажке-визе с фотографией. Билет на ночной поезд в Москву он купил без проблем, назад в Ригу было необходимо возвращаться на самолёте.

Вечером Давид уже сидел в ночном поезде Рига-Москва с авантурным планом устроить свои дела за один единственный день, а после обеда ещё и успеть вернуться домой. Утром поезд остановился

в центре столицы. Давид спустился в метро и первым делом поехал в Калашный переулок получать транзитную визу в посольстве Королевства Нидерландов.

Перед голландским посольством стояла огромная гудящая толпа. Все чего-то хотели от голландцев, от «мин херц», как их звал в одном из фильмов Пётр Первый. Уже при одной мысли о том, сколько он должен будет выстоять в этой давке, стало плохо. Но дела продвигались лучше и быстрее, чем это можно было предположить на подступах к воротам. Давида с розовой визой направили к дежурному у входа и пустили на территорию посольства. Он вошёл в холл, где уже сидели многие, необычно молчаливые и суровые безродные космополиты, ожидавшие своей очереди.

Довольно быстро подошла его очередь. Моложавый, быстро лысеющий голландский дипломат сидел за столом с русской секретаршей и весело трепался. Когда Давид вошел в комнату, то от волнения забыл заранее подготовленный текст и стало сложно говорить. После просьбы остаться наедине с голландцем секретарша поднялась и вышла из комнаты. Теперь стало совсем непросто строить фразы, – он переходил с немецкого на английский. Немного успокоившись, начал рассказывать голландцу о своих финансовых трудностях. Тот слушал с высокомерностью всезнайки.

– Да-да, конечно... Откуда у Вас информация о том, что мы финансируем эмиграцию? А... «Голос Израиля», «Голос Америки». Нет, это не совсем верно. Есть, правда, особые случаи, когда мы помогаем. Но у вас же большая семья, родственники.

– В последние месяцы я не работал, и у меня уже нет никаких сбережений.

– Ищите резервы, ваша семья должна вам помочь. Вы просто обязаны как-то уладить свои дела. Очень сожалею...

Потрясённый Давид вышел в коридор. Многие из фигур, заполнявших коридоры посольства и улицу перед ним, торчали здесь уже несколько дней или даже недель. От кого-то за версту несло зверьём: люди давно не брились, не мылись, находились в не совсем ясном правовом статусе с ожиданием финансового чуда и просроченным выездом. Без денег они не могли вернуться к семьям в Среднюю Азию, на Кавказ, в Прибалтику или на Украину.

Среди посетителей было много горских евреев из Азербайджана, Дагестана и Чечни. Эти оставили свои старые насиженные земли Хазарского каганата, где уже пережили татаро-монгольское нашествие, правление халифов, эмиров, Османов и русского царя. Сейчас с ашкеназийским обозом все оставляли матушку Россию. А Давид всё ещё

не знал, где же ему взять проклятые деньги. Ведь только один железнодорожный билет до Вены стоил около восьмисот рублей! Выхода нет – он должен обязательно ещё сегодня уладить дела в Москве и вернуться домой в Ригу. Поэтому с горя стал искать коллег среди мужиков, потерянно подпиравших стены коридора посольства, и предложил всем вместе взять такси для получения транзитных штемпелей в визах и разделить при этом оплату автомашины.

Так они и сделали. Это была разношёрстная компания: горский еврей, который вставлял в русскую речь слова своего странного иранского языка; грузинский еврей из Тбилиси в огромной кепке, которую не снимал с головы, и молчаливый русский и голубоглазый парень из-под Воронежа.

Грузин в машине сразу же стал на ломанном русском языке допрашивать блондина. Он был убежден в том, что парень шпион и агент КГБ. Это было уже чересчур. Давид спросил парня.

– Ты еврей?
 – Да. Из-под Воронежа.
 – Из Воронежа? Живут там вообще евреи? – спросил грузин.
 – Мы живем в Каменной степи, в большой деревне за городом...
 – И вы из этой деревни? Существуют ещё такие деревни?
 – У нас существуют. Есть, например, ещё и деревня «геров» на Кавказе. Но мы уходим из России. Здесь больше нельзя жить по еврейскому Закону, по Торе. И всё время драки. Из соседних деревень мужики приходят нас бить...

– Тебя-то как звать?
 – Элиазар.
 – А что стояло у тебя в паспорте?
 – Элиазар.
 – Да нет, я думаю в графе «национальность»?
 – Русский.
 – Так ты русский?
 – Нет, я еврей. Русские зовут нас «жидовствующими».
 – Ах, вот оно что! Ты относишься к еврейской русской секте.
 – Мы настоящие евреи, не хуже тебя. Мы верим в Бога по еврейскому Закону. Я обрезан и еду в Ашкелон к тётке Саре.

Грузин не выдержал и тоже вмешался в разговор:
 – Ты говоришь на идиш? Ты кто: ашкеназ или сефард?
 – Мы – жидовствующие, мы – евреи...
 – Хотите выбраться из России и пару лет назад перешли в иудаизм?
 – Дядя Моисей и тётка Сара сказали мне, что мы уже, как минимум, тысячу лет евреи...

– Так почему же у тебя в паспорте стоит «русский»?
– Я не знаю. Возможно потому, что мы русские, верующие в Бога по Закону Моисея. В деревне мы живем и молимся по-еврейски и по-русски...

Первым на очереди было посольство Австрии. Несколько месяцев назад на территории альпийской республики палестинскими террористами был совершён налёт на поезд еврейских эмигрантов из СССР, и грузин явно боялся повторения такого сценария. Он что-то долго и нудно говорил скучающему и вежливому австрийскому чиновнику, который, похоже, мало что понимал из его слов. Давид немного помог в косноязычной коммуникации и положил конец словесному извержению кавказца.

Чехословацкое посольство уже обедало, поэтому наступила вынужденная пауза. Надо было ждать ещё полчаса. Все пятеро, включая шофёра, который с интересом пялил глаза на пёструю, наспех сколоченную группу, перекусили чем-то в громадном кафе. Особенно Элиазара шофёр буквально сверлил взглядом. Он всё никак не мог понять, как такой русак мог оказаться в семитской компании жгучих брюнетов.

Самым сложным и неожиданным оказался визит в польское посольство, где было очень много людей и, похоже, никакого порядка. Толстый лысый чиновник, которого они, наконец, нашли, молча показал на часы. Было ещё время посещения, но лысый отрицательно покачал головой: нет, уже ухожу... Скучающе, совершенно откровенно и не стесняясь, он взял взятки по пять рублей от каждого из них и пропечатал, наконец-то, польские печати транзита в визах.

Программа-минимум была выполнена, но теперь Давид был разорён. Билеты на поезд и оставшиеся деньги на самолёт, налоги и под конец взятка для поляка съели почти все его тощие финансы. Трое из группы оставались в Москве у родственников и знакомых. Горский еврей решил завтра ещё раз пойти в голландское посольство, чтобы всё же постараться взять заём у королевского банка Нидерландов для эмиграции своего клана.

Назад в Ригу Давид должен был лететь с какого-то малоизвестного аэродрома. В справочном киоске ему указали на аэродром Быкуво в другом конце громадного города, название которого москвичи почему-то произносили, как Быкуво.

С этого аэродрома улетали относительно небольшие пропеллерные самолёты. Было ещё светло, но билеты продавались только на завтрашний утренний рейс. Маленький бетонный зал ожидания без стульев и скамей был забит пассажирами, которые, как и Давид, оста-

лись здесь на ночь. Ими были люди из всех республик и областей Союза, – в том числе какие-то немощные бабули, выглядевшие очень больными и слабыми, многочисленные дети различных возрастов, – самые маленькие бесконечно плакали и писали. Кругом было громко и вонюче.

До Давида всё ещё не доходило, что распределение пассажиров на ночь в бетонном зале ожидания без дверей и с сильным сквозняком было окончательным. Один, особенно закаленный гражданин СССР, лежал, издавая ароматы «Московской», как индийский факир, на ребристой батарее отопления из тонких металлических пластинок и храпел.

Напротив ещё один зал-клетка из бетона и стекла. Внутри чудесные мягкие и широкие кресла международного стандарта, но входная дверь заперта, и на ней, на цепи громадный амбарный замок. Все попытки найти ответственного для того, чтобы отомкнуть замок и переспать в таком кресле, были обречены на провал. Никто ничего не знал и ни за что не отвечал. Какой-то неизвестный закрыл ночью аэродром, а ключ к чёртовой матери выбросил.

В грязном киоске, сбоку от входа в небольшой аэровокзал, было ещё светло. Молодёжь Быкуво обнаружила дешёвое «Советское шампанское», киряла и орала. Вечерний вытопанный пятачок у киоска источал ароматы мочи и блевотины.

Давид вернулся в бетонный зал, где изобретательные советские факиры уже массово улеглись на все без исключения ребристые батареи отопления. Поэтому сейчас он, как и все остальные пассажиры, сидел на бетонном полу, втиснутый между людскими телами в крохотную нишу у стены, которую ему уступил сердобольный инженер по сельскому хозяйству из Астрахани.

Сон был очень беспокойным, но в пять тридцать он поднялся на небольшой пропеллерный самолет, который летел в Ригу. Через шесть с половиной часов, после многих остановок в различных городах, машина приземлилась в Латвии, в тогдашнем рижском городском аэропорту Румбула, который после его эмиграции почему-то закрыли и перепахали, как и вообще почти все его воспоминания об исходе.

Давид Братславер

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА

(романс)

Год прошёл и снова осень
Удивляет сентябрём,
И вершины старых сосен
Умываются дождём.

Дорогая, как и прежде,
Так и в этот добрый час
Я уверен, есть надежда,
Встретиться ещё не раз.

По проторенной тропинке
Мы пойдём с тобой туда,
Где блестящие росинки
Льёт небесная вода.

Где, впервые ввысь взлетая,
Отрываясь от земли,
Нам поклоны посылают
Молодые журавли.

Вспомни! Этой же тропюю,
Где растёт кудрявый клён,
Мы сентябрьской порою,
Шли под колокольный звон.

ОСЕННИЙ ВАЛЬС-КАПРИЗ

Нас познакомила судьба,
Когда в саду на бис
Играла медная труба
Осенний вальс-каприз.

И грустных песен не любя,
Умолк весёлый чиж,
А дождь оплакивал себя,
Слепой, стекая с крыш.

Шептала жёлтая листва,
Рассыпавшись кругом,
Лишь ей понятные слова
Под проливным дождём.

Вдруг солнца луч, сквозь облака
Блеснул и вмиг исчез,
Как будто сильная рука
Сомкнула свод небес.

И чтоб рассеять мрак и мглу
В ненастный этот день,
Тебе заветное люблю
Мне повторять не лень.

ЗИМА

Гнал ветер, как азартный кучер,
хмельного выпивши слегка,
лохматые седые тучи,
в нелёгкий путь, издалека.

Пути не ведая предела,
сомкнулись тучи меж собой,
в мгновенье ока побелела
земля, утративши покой.

Зима, настойчиво, морозом
вокруг пространство обожгла,
заставив лес, в застывшей позе
страдать, раздетым догола.

Зима мосты соорудила
над непокорною рекой,
на тереме, в современном стиле,
воздвигла купол ледяной.

Поют весёлые метели,
и вихрем, улетаая вниз,
с небес пушистою постелью,
на твёрдом ложе разлеглись.

И опустив своё забрало,
неукротимая зима
всё, что смогла, в себя вобрала –
распорядилась всем сама.

И даже солнцу угрожала
его упрятать в закрома,
но не страшит мороза жало,
что подготовила зима.

И солнце, не забыв угроз,
старуху довело до слёз.

Нора Гайдукова

СОНЯ

Много нас тут, но все разбились на группы и редко друг с другом пересекаются. Так получается, что куда ни пойдёшь, всё одних и тех же людей видишь. Потому что есть привычные места, куда одни и те же люди ходят. Все эти бесплатные самодеятельные концерты или чтения, всё для пенсионеров В других местах другие люди. Но опять же в своей компании.

Куда бы я ни пришла, всюду встречала Соню. Наверное, она была самым активным участником всяких русско-украинских тусовок. Как-то поехала я с нашими на парходике по озёрам, Тегелю и другим, которые Берлин окружают. Это был праздник – Первое Мая, в нашей прошлой жизни мы на демонстрацию ходили и потом активно на кухнях праздновали с салатом оливье, селедкой под шубой и холодной водкой, настоящей на рябине. Эти приятные воспоминания здесь в Германии нам покоя не дают. Поэтому в конце поездки наши бабушки стали петь хором любимые советские песни. Среди них выделялся звонкий голос и активность одной из них по имени Соня – крашеной блондинки с большими голубыми глазами. «Лучше нету того свету, когда миленький идет...» затягивала она и другие девушки 50-х годов подхватывали «лучше нету того свету, когда яблоня цветет...» Глаза Сони горели, она улыбалась и широко открывала большой рот. Когда я работала в женско-лесбийском ферайне «Тутти», Соня и туда заглядывала. Она была всегда в хорошем настроении и заражала окружающих пионерско-комсомольским оптимизмом.

Последний раз я видела её на вечеринке в одном ферайне, где несколько десятков пожилых женщин, ярко разряженных по моде 80-х годов, чрезмерно и не к месту накрашенных, выпивали и закусыва-

ли, а потом отчаянно отплясывали друг с другом. Дамы вскрикивали, притопывали каблуками и подпевали на знакомые мотивы. По углам жались несколько сильно пожилых или очень нетрезвых кавалеров, вид которых не оставлял надежды даже для совершенно нетребовательных претенденток. На столе стояли незрелые фрукты, слишком сладкие русские пирожные и традиционные бутерброды с селедкой. Вдруг я увидела Соно. Она была одета в ярко-голубое платье с рюшами. Сильно накрашенные щеки, ярко-малиновые губы и широко-раскрытые голубые глаза – её нельзя было не заметить. Соня держалась за громоздкий роллатор и, о, ужас, когда заиграла очередная танцевальная мелодия, которую довольно фальшиво затянула под гармошку толстая самодеятельная певица на сцене, кажется, «созрели вишни в саду у дяди Миши...», Соня пошла танцевать с её неуклюжей тележкой, это было не смешно, это было больно...

О Соне рассказывали удивительные истории. Во время войны, в оккупированной Белоруссии, девочку прятали в подвале добрые люди. Они носили ей в подвал еду, и она несколько лет оттуда не выходила. Но когда война закончилась, все разбежались кто куда и о Соне позабыли. Несколько дней никто к ней не приходил, и она решила выйти из своего укрытия. Так её обнаружили советские солдаты и сдали в детский дом, где она выросла и поселилась в большом хорошем городе Днепропетровске.

У Сони была мечта – она хотела найти свою маму. Была она необыкновенным человеком, ей удавались многие вещи, для других невозможные. Ей и это удалось. Престарелую маму привезли в Берлин, где она ещё несколько лет прожила в уютном и дорогом еврейском Доме Престарелых. Соноу она не признала и вообще не узнавала.

Прирождённая актриса, Соня имела неизменный успех у мужчин. Два раза ей удалось выйти замуж. Первый муж, белорусс, друг детских лет из того же детдома, продержался недолго. Витя не имел ни образования, ни профессии. Он уехал по комсомольскому призыву поднимать целину, больше Соня его не видела. Как многим послевоенным женщинам, ей пришлось одной поднимать детей – двух мальчиков-погодков Федю и Гену.

Федя, старший, стал предпринимателем в Белоруссии. Он покупал и продавал не то белорусские молочные продукты, не то неплохую белорусскую обувь. Гена уехал сначала в Израиль, потом неизвестно куда, и следы его затерялись.

Соня приехала в Германию уже за пятьдесят, тем не менее, она имела неизменный успех у вялых немецких мужчин и быстро нашла себе мужа – вдовца с большим домом в Кёпенике и четырьмя взрос-

лыми детьми. У вдовца Райнера было типично немецкое хобби. Он выискивал по интернету недорогие путешествия, и они с Соней отправлялись в Тунис, на Майорку, даже в Париж или Лондон. Так продолжалось счастливых несколько лет, но в одной из поездок Райнеру стало плохо — сердце. Его сняли с автобуса на скорой и отвезли в больницу. Несмотря на все усилия старательных немецких врачей, через три дня он умер. Соня осталась одна, а было ей уже хорошо за семьдесят.

Среди толпы пожилых евреев она заприметила одинокого мужчину, который всюду ходил с фотоаппаратом. Он был примерно её возраста, но выглядел ещё крепким и энергичным. Его звали Лёва. Соня подошла к одинокому джентльмену и пригласила его в гости. «Вы любите рыбу?» – спросила Соня, глядя на Лёву большими голубыми глазами. Лёва расплылся в улыбке: «Конечно, люблю» – и был тут же приглашён на обед. Соня была, ко всем своим достоинствам, отменная хозяйка. Накрашенная и причёсанная в парикмахерской, нарядная и пахнущая духами «Латинский любовник», она встречала Лёву в чисто убранной кухне. Рыбу сменяли салаты, гуляши, солянки, куриные шейки. Лёва ел за двоих и рассказывал Соне, как можно пройти на любой спектакль в Берлине практически «на халяву». Но Соню это не интересовало – она получала, как жертва нацизма, вполне приличную пенсию. Да и вообще театры и концерты не были сониной стихией. Она была человеком действия, а не пассивным зрителем в этой жизни.

Так прошел месяц сытой жизни Лёвы. Он заметно пополнил, но по-прежнему активно бегал по городу. Наконец, Соне надоело просто так стоять у плиты и мыть посуду и она прямо спросила Лёву: «Я тебе нравлюсь?» Лёва растерялся, никак не ожидая такого поворота событий, и промямлил что-то невнятное. Но Соня не отступала: «Давай вместе жить!» – предложила она. Тут Лёва по-настоящему испугался. В следующие пять минут его и след простыл, и больше никакими рыбами его было к Соне не заманить.

Соня немного поплакала на плече у своей лучшей подруги Любы, а потом нашла себе новое занятие. Она вспомнила, как Райнер находил недорогие путешествия, и стала делать это сама. Замечательный организатор, она собирала одиноких пожилых женщин, и они вместе ехали обживать Европу и окрестности. Тут-то и случилось несчастье. Выходя из автобуса после длительной поездки, где-то под Мюнхеном, Соня вдруг упала без сознания. У нее случился инсульт. Это было как раз в День рождения, когда ей исполнилось семьдесят пять лет.

Долгие месяцы в больнице и в санатории поставили её на ноги, но передвигаться она могла только с роллатором. К ней ходила нянечка из фирмы по уходу, многочисленные подруги тоже её охотно навещали.

Но Соня серьезно загрустила и решила для себя, что всё интересное уже позади, и стала подумывать о красивом уходе из жизни. Тут как раз ей попало объявление о том, что в Швейцарии, в роскошной клинике, спрятанной от суетливого мира высоко в горах, делают за приличное вознаграждение эвтаназию – то есть помогают добровольно уйти из жизни. Соня позвонила туда и попросила назначить ей термин.

Потом она стала всюду ходить со своим роллатором и вроде бы опять повеселела. Она уже стала забывать о Швейцарии, как вдруг раздался звонок. Соня растерялась и рассказала обо всём Любе, та расплакалась и стала Соню всю отговаривать: «Ты ещё много лет проживешь, радуйся жизни, мы все тебя любим» – говорила она. Соня заколебалась. Она позвонила в клинику и услышала по-немецки жесткий ответ: «У нас люди годами ждут места, Вам повезло. Если Вы сейчас не приедете, Ваша очередь пропадёт!»

И Соня отправилась в Швейцарию.

Её подруга Люба всё ещё пыталась с ней связаться и остановить безумный поступок. Она позвонила Соне на мобильник и услышала следующее: «Меня уже одели и причесали. Я такая красивая ухожу к Нему!» После этого мобильник отключился...

Похоронили её, видимо, всё-таки не считая самоубийцей, на еврейском кладбище на Вайсензее в Берлине.

АВТОПОРТРЕТ

Лучше выглядеть сумасшедшей,
Чем быть совсем никакой.
Не стоит пенять на вечность,
Что тащится к нам с клюкой.

Ты в ворохе пестрых тряпок
Находишь себе приют.
Всё лучше, чем вечно плакать,
Что замуж уж не берут.

Весенним, прозрачным утром
Могу оседлать метлу.
Гляжу, как усталый путник
Сгребает свою золу.

И будет полна кошёлка
Безумных и ярких снов,
От книг надломилась полка,
Из мыслей чужих улов.

Весенний несмелый крокус
Прошепчет, что ты жива.
Подарены дни и ночи,
Деревья, цветы, трава.

Да, выгляжу сумасшедшей
И это радует глаз.
Не будем пенять на вечность,
Она проживет без нас.

БЕРЛИН В ДЕНЬ ПАМЯТИ

В полупустом зале Еврейской Общины Берлина
Идет Вечер Памяти КЦ Освенцим:
Доклад, концерт, всё что положено,
Выступления внуков, кающихся
За вину их дедов и бабушек.

Молодые танцуют, а детки поют,
Но кажется, души умерших
Склонились, потупясь устало.
Всё это давно надоело.

Ведь много событий других:
Рвутся бомбы, стреляют
На Украине и в Сирии,
Падает рубль и цены на нефть,

А вы со своим Холокостом.
Теперь много новых событий...
И только блестят золотые
Таблички в замерзшем асфальте
Вот эта Илана Шапиро
Глядит на прохожих,
Окошко её на Кудаам
Выходило, а тот, кто живет
Там сейчас, встречается
С тенью её

А так надоели вы с этим.
Убитых других тоже
Много...

БАД КИССИНГЕН, 2014

Я прочту перед хлебом молитву
В ностальгическом старом отеле
Эден Парк примет нас и обнимет
Хоть на время мы будем евреи

Великий Бисмарк здесь построил
Усадьбу рядом с сонной Заале
На красном кресле смастерили
Весы мудреные с надеждой
Что эти ванны помогают
В Бад Киссингене похудеть

В отеле «Виктория» Сисси
Раз пять между прочим гостила

Наверно всё также хандрила
Но воздух целебный хвалила
Высоко на горе её профиль
На медной доске обозначен
Там воздух и свеж и прозрачен...

Новостройки серебряного века
Изумрудные крыши курзалов
Отражает неспешная Заале
Что порой разливается бурно
Никогда здесь не падали бомбы
Доктор местный лечил Риббентропа
Этим Бадом гордится Европа

Время золотых нарциссов
Время сиреневых тюльпанов
Время светло-зеленых листьев
Время пения маленьких птичек
Время неяркого солнца
Это апрель в Бад Киссингене

Виктория Пышная

* * *

Зимняя стужа
Белой пургою озёра завьюжила.

Слёзы блестели
От белого солнца и этой метели.

Небо висело,
Как призрачный купол из света и мела.

Помнишь, как в этом прозрачном
Заснеженном мире

Мы счастливы были?

* * *

Я шла, позабыв всё на свете,
не думая ни о чём.
Лишь волосы вскидывал ветер,
и вновь опускал на плечо.

Я шла, ни о чём не мечтая,
и позабыв о весне,
Прохожих не замечая,
улиц не различая,
долгой дорогой к себе.

Дворы, переулки, и скверы...
Бездомные кошки орут

и на душе было скверно,
сжимала тоска, как спрут...

Вот – переулочек знакомый,
Знакомый до боли в висках.
Я помню – из этого дома
звучал Себастьян Бах.
«Слышишь? Музыка...»
«Слышу»,
«Вон из того окна»
Звёзды сияли над крышей
и улыбалась луна.

...Но отзвучала скрипка.
Двор молчалив и угрюм.
И...ветерок зыбкий, –
печальных не жаловал дум.

* * *

Как любила бы я Вас,
но Вас нет.
Как хотела бы я к Вам,
на тот свет.
Там сиреневые птицы
поют.
Там серебряные розы
цветут.
Там струится водопад
в небеса.
И слеза на лепестке,
как роса.
Это вспомнили Вы раз
обо мне.
Как тоскую я без Вас
на Земле.

ТАНЦОВЩИЦА ФЛАМЕНКО

Вот так!
Враскоряку,
торчком,

крюком,
И – мрачный огонь в глазах!
И будто из самых глубин, тайком,
ползёт первобытный страх.

Застыв земною глыбой,
вдруг назад
попятиться напролом,
схватив кулаками свой буйный зад,
вильнуть, как дракон, хвостом.

И – смерть во взоре!
И – ярость в ногах!
И кажется, что вот-вот,
раз крутанувшись на каблуках,
из пасти огнём дыхнёт.

ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ

Листья,
острые жёлтые листья
в память вонзаются больно.
Лисьей,
нечеловечьей тропкой –
довольно
несправедливости страшной.
... Остался
мне только день вчерашний,
и – как ты смеялся!

Небо,
вдруг опрокинулось небо,
звёздами отвернувшись.
Мне бы
вновь повидаться с тобою,
проснувшись
там, где на звонких кастрюлях
мы ритм отбивали –
кто дольше.

Это неправда, что нет тебя больше.

* * *

Когда молчит уставший телефон,
почувствовать оборванность всех нитей,
чудовищную прерванность событий,
слепой непоправимости закон.

И всё, конечно, так, как должно быть,
и нам, конечно, там ничуть не хуже,
и всё-таки ты мне так странно нужен,
что... Если бы могла я объяснить...

А за окном – чугунная ограда мостовой,
и, растворяясь в прошлом,
я слышу вновь
твой голос, близкий голос твой:
«Это – жизнь. Это – любовь».

И просыпаться с болью сладких снов,
и чувствовать опустошённость сердца,
и знать, что никогда уж не согреться
мне покрывалом глаз твоих и слов.

И больше никогда не вспоминать,
пусть время-пёс зализывает рану.
Пред небом на колени я не встану
и ни о чём не буду умолять.

И только вдаль от прошлого лететь
голубоглазой легкокрылой птицей
счастливою, на небо возвратиться,
и ни о чём там больше не жалеть.

А вдалеке чугунная ограда да врата,
и растворится явь, и я услышу вновь
твой голос, в нём твоей души слова:
«Это – жизнь. Это – любовь».

Игорь Коган

ШАРЛАТАН – 5 КАРМА

Продолжение. Начало см. в альманахах «До и после» №№ 14 – 17

От звенигородского вокзала до «Ёлочки» трястись на автобусе минут тридцать. Пока ехал, всю Изумрудную долину затянуло тухлым оборванным тряпьем. Мелко, тоскливо, беззвучно заморосила такая гнущь – хоть вешайся. Сквозь всю эту «ангельскую» муть еле-еле пробивался болезненный солнечный глаз, больше похожий на воспалённый гнойник. В такую погоду не только пить – жить не хочется...

Я зашёл в администрацию, снял номер и попёрся ужинать.

Два – три полудревних старикана, десяток мамаш с карапузами, один пузатый папаша – всё, что удалось срисовать в огромном столовом зале....

Кончилась Ёлочка. «Ничто не вечно под луною»... Вот именно – ничто. А вечно что? Мой старикан закадычный? Как выяснилось, боги, в смысле вечности, тоже звёзд с неба не хватают. Время у них течёт по-другому, а продолжительность жизни зависит от Вселенной. Интересно – сколько времени отпущено Вселенной? Шарлатан и тот не знает. Сам говорил.

Хорошо богам в пространствах душами человеческими заведовать: одних принимают, других возвращают. Я бы тоже не отказался хоть недельку так пожить. Поди, хреново! Всех бы их сюда спустил – на землю. Прочувствовать, как нам тут с нашими дерьмовыми заботами.

Господи, как муторно, как противно. Жил себе потихоньку – не бог весть как, но терпимо. Свой кусок хлеба имел – иногда с маслом. А теперь, что? С такими мыслями как торговать? С такими мыслями только и осталось прыгнуть в унитаз и спустить за собой воду. А что? Самое милое дело. Брошу всё и пойду в туалетные работники. «Лю-

бовь приходит и уходит, а писать хочется всегда», частенько повторял наш армейский старшина и при этом так громоподобно ржал, что в казарме дрожали стёкла...

Устал я сегодня. Надо бы на горшок, да побасеньки... Утро – оно вечера всегда мудренее. Или мудрёнее?

Лучше было не засыпать, а ещё лучше в стельку напитокся. Может быть, с пьяных глаз, вся эта бодяга показалась бы совершенным бредом...

– Рота, подъем! Тридцать секунд! Становись! Равняйся! Смирно! Рядовой Бауер, два шага вперёд! Кругом!

Тридцать секунд – время короткое, особо не помыслишь. Пока одевался, да в строй становился не до того было, хотя подсознание улавливало рядом какие-то странные шевелящиеся непонятки. Только оказавшись перед строем, я разглядел, что передо мной были не реальные люди, а некое количество размытых, полупрозрачных контуров. Была ещё одна причина ломать себе башку: уж кто-кто, а я прекрасно знал – фамилия моя не Бауер, но когда старшина выкрикнул Бауер, стало ясно, что это ко мне. По всему судя, старшина был настроен весьма решительно, и одним нарядом вне очереди наверняка не отделаться.

Заложив руки за спину, ну прямо как наш заместитель командира дивизии по политической части, он прошёлся пару раз перед строем и начал вещать:

– Вы, боец, человек не только простой, средний и незамысловатый, как давеча, сами о себе размышляли. Вы – малосозидательный, невразумительный, беспредметный, бесцветный, и, к тому же, неблагодарный. Чем вы, собственно, недовольны? Поневоле вспомнишь Михайлу Василича Ломоносова. «...О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь человек...» О чём вы ропщете? На кого вы ропщете? Кто вы, собственно, такой и чего Вы хотите? Из себя меня корёжить хотите? А сможете? Вспомните, что говорил замкомдив по политчасти: «Нельзя объять необъятное и впихнуть невпихуемое». Вы, боец, можете впихнуть невпихуемое? О необъятном я даже не говорю! Скромнее надо быть, скромнее. Взгляните на тех, перед кем стоите. Смирненейшие, между прочим, сущности были. Провели, так сказать, срок жизни земной в непрестанной заботе о хлебе насущном. Некоторые заслужили новую достойную реинкарнацию. Никого, кстати, не узнаете? Приглядитесь: хотя бы этот ландскнехт в латах – имперский кирасир времён тридцатилетней войны. Не помните? Ну как же, а битва при Лютцене, а Густав II Адольф, шестой король Швеции, Готов и Вендов? Поройтесь в глубинной памяти, в архив прошлых воплощений загля-

ните. Не там, не там – в раздел будущих зачем полезли? Рано вам туда. Это совсем другое полушарие и совсем другая история – наплачетесь ещё... Просто морока с Вами, ей богу. Ну же – напрягитесь. Да нет, боец, нет! Я же говорю – скромнее надо быть, скромнее. Ну какой из Вас король! В прошлой жизни, точнее в очередной прошлой жизни вас звали Тило Бауер, наёмник, солдат католической лиги. Вы тот, кто в разгар сражения нанёс его величеству последний, смертельный удар, кому он сказал перед смертью: «Я был шведским королём».

Тило повысили в должности – наградили. Он купил небольшой участок земли, домик построил, женился, завёл детишек и отошёл в мир иной, будучи добрым католиком.

Участвуя в самых жестоких сражениях, Тило Бауер не получил ни единой царапины. Израненные, покалеченные сослуживцы только диву давались. Они, как впрочем, сам Тило, не могли знать: пра-пра-пра-бабка со стороны матери, получив от своих запредельно отдалённых предков способность к колдовству, оставила ему в наследство зверино-животную интуицию. Она руководила поступками Тило в самых опасных баталиях. Кое-что из этого наследства досталось в неразвитом состоянии и вам. Советую потренироваться. В ближайшее время эта способность может весьма пригодиться. Что касается меня – я в этой ситуации умою руки. Негоже, ради наших дружеских отношений, исправлять за Вас вашу карму. Выбирайтесь сами.

Зачем Вам понадобилось устраивать эту мистификацию со старшиной? – до меня, наконец, дошло: в роли армейского служаки подвизался не кто иной, как Шарлатан.

– И вы, и я, и даже Вселенная – физиономия Шарлатана расплылась самой похабной старшинской ухмылкой – всего лишь игра, шутка, одна из множества иллюзий, сотворённых великим, непостижимым, скучающим разумом. Могу я – Господь Бог ваш позволить себе расслабиться и тоже немного пошутить? Нельзя же всё вокруг принимать так серьёзно, особенно то, что никогда не будет доступно для понимания: мне в том числе, а уж вам, плотнотелым, и подавно. Ну да ладно. Не будем о грустном. Поговорим лучше о некоей таинственной и зловещей даме, о вашей знакомой незнакомке.

С ней, и не только с ней, вам придётся иметь дело в недалёком будущем...

Однако, всё по порядку.

Экстрасенсы, маги, ясновидящие, целители – тоже люди – почти... Из сотни вышеупомянутых человек восемь десятков, не менее, шарлатаны стопроцентные. Остальные двадцать в той или иной степени действительно имеют, как это у вас называется, «дар божий».

Из этих двадцати девятнадцать – пятидесятипроцентные шарлатаны, если только возможно быть шарлатаном на пятьдесят процентов. Только один – двадцатый, использует свой дар по прямому назначению – решает проблему и денег не берёт. Оттого и живёт в нищете.

Марьяна относится к предыдущим девятнадцати – моральные проблемы её не интересуют. «С богатым клиентом надо работать честно. Остальным туфта сойдёт. Что я – с ума сошла? На всякую шелупонь энергию тратить».

Цель жизни Марьяны – свобода. Причём, свобода не земная, а небесная, вселенская, межзвёздная. С земной свободой все в порядке. Есть деньги – есть свобода, а денежки у Марьяны водятся всегда, потому как способности немалые и от клиентов «отбою нету».

В физическом теле Марьяны заключена молодая, не вполне зрелая душа. Душа, или как говорят ваши учёные мужи – энергоинформационная структура, выполняет на земле свои конкретные задачи, и они коренным образом отличаются от тех, которые ставит перед собой Марьяна. Душе необходимы мудрость и совершенство, а телу земные радости, не важно, каким образом приобретённые. Приказать телу душа не может. Душа может только намекнуть на кое-что отвлечённо-возвышенное – укоры совести, например, а к земной реальности и построению собственного благополучия никакая совесть никакого отношения не имеет.

Чтобы вам, мой плотнотелый друг, понять и не потерять из-за этого рассудок, допустите в свои мысли пару нюансов – душа, помещённая в тело, это одно, а тело - совсем другое. То же, касается и вас... Душу, о которой идёт речь, зовут Лалибела – для краткости Лали. Что касается тел физических, внутри которых Лали за это время пребывала, то имена у них разные. Уразумели?

Душа Марьяны обрела первое физическое тело за 1200 лет до конца Эры Ближнецов – в 5944 году до вашей эры... Её отец был главой рода Зубра, а также совмещал обязанности священнослужителя, мага и шамана. Род занимал территорию на севере Месопотамии, где издревле кочевали семитские племена. Соседями Зубров были Рыси – точнее род Рыси. Отношения между ними были неровные – то дружили, то воевали.

Предыдущие четыре жизни Марьяна (будем для удобства называть её этим именем) в переводе на современный язык, занималась народной медициной и целительством. Собирала травы, смешивала, варила, алхимила, изобретала снадобья и яды, за что в очередном воплощении, в год Господа вашего Иисуса 1431-й её, как ведьму, после допросов и пыток сожгли на костре.

Следующую, весьма короткую, жизнь она прожила в Российской империи. Поступила в медицинский. Благодаря наработкам прошлых реинкарнаций могла состояться превосходным специалистом – не случилось. Влюбилась в молодого красавца – члена московского тайного кружка, убеждённого террориста и все недюжинные способности конкретным образом применила... Хотя лично она собственными руками никого в мир иной не отправляла, однако к некоторому количеству преждевременно погубленных физических тел, а так же аналогичному числу не выполнивших свою задачу душ, косвенно причастна.

Ещё одну жизнь она провела в Германии. Снова поступила в медицинский. Снова подавала надежды. Снова не случилось – родина позвала. Несколько лет она занималась профилактикой здоровья девочек-подростков – будущих матерей, в «Лиге немецких девушек». Молодую, активную, её заметили. От научной практики в отделе народной медицины, где ей предложили заниматься исследованием целебных трав, а также составлением карты произрастания упомянутых трав по всей Евразии, отказаться было сложно: высокая зарплата, привилегии и рискованно. «Наследие предков» отказов не прощало. Можно было потерять не только работу, но свободу и даже жизнь. Она согласилась, понимая, что обратной дороги нет. Через год её повысили, и внутри того же отдела она возглавила проект «Роль леса в жизни древних германцев». Вскоре отдел укрупнили и переименовали в Учебно-исследовательский сектор оккультных наук, где проводили исследования по астрологии, хиромантии, оккультизму и другим наукам, запрещённым в Германии для простых смертных. Однако, и этот отдел прожил недолго. Её снова перевели: сотрудником в один из самых засекреченных отделов – библиотеку «Наследия предков», в сектор оккультизма, с правом допуска к любым документам и полным отсутствием свободы передвижения за пределами старинного замка в Оберайхльберге, недалеко от Ульма. Там, в апреле сорок пятого, она могла бы закончить своё очередное на этой грешной земле воплощение – сгореть заживо вместе с остальными малозначащими сотрудниками и остатками библиотеки, которую зондеркоманда сожгла по приказу Гимmlера – «полудохлой землеройки». Так остроумно прозвал своего бывшего подчинённого один из духовных отцов-основателей нацизма Грегор Штрассер.

Немцы народ педантичный. К известию о том, что одного женского трупа не хватает, начальство отнеслось очень серьёзно, но трупа так и не нашли...

Работа в библиотеке стала для Марьяны подарком судьбы. Все

реинкарнации она только и делала, что принималась, тыкалась носом как кутёнок, полагаясь в основном на интуицию, получая болезненный отрицательный опыт, шла к своей цели методом проб и ошибок. Наконец-то появилась возможность уложить в систему полученные в прошлых жизнях знания. Какие документы оказались доступны! Секретнейшие методики перемещения в пространстве! Воздействие на характер человека и его судьбу! «Теургия» – белая магия! Колдовство и чародейство – чёрная магия! Боевая магия! И – самый главный, самостоятельный вывод: нет белой магии, нет чёрной, нет колдовства и чародейства! Есть законы природы!

Опыт предыдущих жизней, изучение секретов тибетской медицины, система использования природных энергий, древнейшие манускрипты, к которым она получила доступ, значительно усилили способности Марьяны. «Остаться невредимой в обыкновенном пламени? Да хоть в центре атомного взрыва!». Используя законы природы, Марьяна и не такое могла выделять. Особенно ей удавались практики управления «человеческим материалом» на расстоянии при помощи мысленных приказов и внушений. Фактически она была самым мощным «магом» третьего Рейха, но кроме неё, об этом, как ей ошибочно казалось, никто не знал, а Марьяну никакие Рейхи не интересовали. У неё были свои задачи.

«Какие кретины! – говорила она себе – стоять на пороге величайших открытий и додуматься всего лишь до примитивной критической массы! Иметь в своём распоряжении такие знания и тратить усилия на дебилские Гиммлеровские заморочки: «теория полой земли», «святой Грааль», «ледяные пещеры» и прочая нацистская муть! Они не достойны ни власти, ни вечности...

Свободно перемещаться в пределах и даже за пределами Вселенной! По собственному желанию создавать себе любое тело или вживаться в чужое – вот истинная цель! Вот подлинные свобода, власть и бессмертие!». Одного Марьяна, упиваясь своим величием, категорически не желала и до сих пор не желает знать и принимать. Она – не Бог.

Не стану утруждать ваши переполненные извилины подробностями её «чудесного» спасения. Уверяю – остаться невредимым под перекрёстными струями огнёмётов не так сложно. Я научу... Когда-нибудь... Если возникнет необходимость... Важнее другое: недалеко от замка, в точке слияния рек Иллера и Блау с Дунаем, на глубине нескольких метров законсервировано физическое тело Марьяны – на всякий случай. Вдруг возвращаться придётся. Предосторожность в таких делах не помешает – мало ли что... Свою энергоинформаци-

онную структуру, или, как говорят некоторые доморощенные «специалисты», «Атман» она перенесла в магнитное поле земли, где и дождалась подходящего тела. Остальное – старый хрыч опять гнусно ухмыльнулся – вы лучше меня знаете...

А сейчас, молодой человек, я хочу попросить вас об одной услуге.

– Оказать услугу? Вам?? – я кожей почувствовал: сейчас меня вляпают в премерзешую историю. – Каким образом рядовой землянин может услужить Богу: создать новую планету, новую звезду, ещё одну вселенную?

– Ну что вы, это я и сам могу, если очень постараюсь – под косматыми бровями плеснула такая древняя сила, что мне стало не по себе – всё, мой друг, гораздо проще. Хотите восстановить справедливость – разбудить спящую подружку?

– Конечно, хочу! Но как я справлюсь?

– С кем? С подружкой? – он хитро прищурился, – уверен, справитесь, не впервой. Верните подружке тело, чтоб вам было с чем справляться, и полный вперёд. Однако, требуется создать некие предварительные условия: Марьяна должна покинуть чужое физическое тело и вернуться в собственное. Желательно не дать ей возможность сбежать в магнитное поле.

– И как Вы себе это представляете? – спросил я с дрожью в голосе, всё ещё лелея надежду как-нибудь отмотаться. – Вы сами, что можете сделать?

– Нет ничего проще: могу пальцем щёлкнуть, могу просто подумать, и всё станет на свои места.

– Ну, так щёлкните или подумайте! Зачем усложнять?

– А карму кто за вас отрабатывать будет? Я? Мне больше делать нечего? У меня, простите, совсем иные обязанности. Я что вам всем – нянька? Я любвеобильный, я всепрощающий, я благодетель, я святой... Кстати, о святых: вам интересно, почему их давно нет среди вас, почему они все там – Шарлатан вонзил указательный палец вверх – там, а не здесь? Отвечу: многие среди вас были – ни один не умер своей смертью. Всех убили, сожгли, распяли, замучили. Именем моим! Во славу мою! Я это сделал или вы!? Почему я допустил? А почему я должен мешать? А как же закон свободной воли? Я не могу позволить себе нарушать мною же созданные законы. Я Бог! Так вы меня называете? Бог, а не человек. Вы тут все хорошо устроились, типа я нагадил, а в ответе Господь. Мы у него на иждивении. Он нас создал, ему и отвечать. Не легка ль дорожка!? Я такую колыбель вам создал. Живите! Радуйтесь! Так нет же... «Волхвы не боятся могучих владык, а княжеский дар им не нужен...». Недра земные истязаете, а таланты на

эшафот? Чтоб деньги лопатой грести не мешали? Только за последние семьдесят лет – кого отравили, кому автокатастрофу устроили, кого просто убили – всего шестнадцать человек. Фамили назвать?! Другим «повезло» – их заперли на войну работать. Шаг вправо шаг влево – расстрел...

Я уже не в первый раз всё сначала начинаю. Вы, ребята, допроситесь – всё сделаю заново: выращу новые деревья, придумаю новые цветы, построю новые горы, спроектирую реки и вас всех заново перелициую. У меня есть на это время...

«Во старикан завёлся, – подумал я, – не ровён час ручками начнёт трясти и ножками топтать. Чего доброго кондратий его хватит. Мне в таком случае, что делать – неотложку вызывать? Никогда не видел его в таком ажиотаже...»

Скорою вызывать не пришлось. Он быстро успокоился и продолжил.

– Повторяю, у меня есть на это время, но проект «разумные животные», я имею в виду людей, несмотря ни на что – удачный проект. Мне будет жаль, пока жаль, и вот почему. Я, помнится, уже говорил вам, что прожил неисчислимое количество человеческих жизней, причём всегда появлялся, как это у вас говорится, «на свет божий» естественным путём, безо всяких там непорочных зачатий. Представляете, сколько у меня было мам? Я помню их всех. Одну – особенно... На её девяностолетии гостей было мало – мама всех пережила. Было светлейшее мартовское утро, а потом залитый сусальным золотом день. Мама была так прекрасна, как может быть прекрасна в свой день рождения только мама, любая мама. Я пригласил её на танец. Мама склонила седую голову мне на плечо, словно маленькая девочка, доверчиво прильнувшая к своему первому мальчику, и так мы медленно кружились...

Он резко оборвал тему.

– Вам понятно, мой молодой друг, чего мне жаль?

– Честно говоря, не очень, и вообще, я далеко не так романтичен, как кажется. Сдалась мне ваша ностальгия, у меня своих проблем... – и тут я почувствовал, что мгновенно оледенел, просто в кристалл превратился. Коснись меня сейчас, и я рассыплюсь мельчайшими брызгами... Мизерная тёплая точка, пульсирующая в сознании, принесла ощущение разницы между 50-ти градусным морозом и космическим холодом...

– Будете дерзить – так и останетесь и никогда более не появитесь на моей планете, на любой другой тоже. Станете вечно летать по Вселенной с вашей мизерной тёплой точкой, как с фигой в кармане. Вам ясно?

– Уж куда яснее, – просигналила за меня тёплая точка.

– Ну, вот и ладно, как говорится, вернёмся к нашим баранам. Вы пока ещё вправе отказаться, потянуть время, но равновесие должно быть восстановлено, когда-нибудь количество автоматически перейдёт в качество, и тогда я вам не завидую.

– Та-а-а-к... Стало быть, вот она, зона моей кармической ответственности, – сказал я, оттаяв, – старшинский наряд вне очереди... Я что, с голыми руками пойду уговаривать?

– Ходить к ней совершенно необязательно. Уговаривать тоже. Хотя, вам решать. Оружие у Вас такое же, как у Марьяны – искусство управления «человеческим материалом» на расстоянии при помощи мысленных приказов и внушений. Разница одна – у Марьяны огромный опыт, у вас нет. Учитесь использовать свой дар и запомните – большая часть её силы имеет форму знания.

Теперь по поводу зоны вашей кармической ответственности и не только вашей... Одна великая душа, посланная мной на землю дважды с разницей почти в две тысячи лет, поведала вам – разумным плотнотельм, одну и ту же действительно абсолютную истину:

«Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе».

«Мысленные построения, невидимые при жизни земной, становятся зримыми в Мире Надземном и играют решающую роль в дальнейшей судьбе человека».

Хочу предостеречь. Перевод известного афоризма «Knowledge itself is power» – «Знание – сила» – перевод для простачков. Точный перевод – «Знание – власть». Наберётесь опыта, получите неограниченные возможности и почти непреодолимое желание воспользоваться ими: либо для собственной выгоды, либо просто невинно поиграться – почувствовать, так сказать, свою мощь. Никогда не забывайте, что я говорил при нашей первой встрече – «Вход в изначальную матрицу человека без его личного разрешения карается неотвратимо и беспощадно». Нужно иметь очень серьёзные основания для подобного «несанкционированного визита». Великая сила – Великая ответственность. Не навлекайте на себя проблемы, которые не сможете отработать и за тысячу будущих жизней. Пожалейте своих потомков. Марьяна не пример для подражания.

На этом пока всё. Я буду следить за вами. Скоро утро, мой молодой и строптивый друг. Вас ждут непростые дела. Пора просыпаться...

Василий Левин**ВЕТЕР ПЕРЕМЕН**

Не нужно, конечно, бояться
весеннего, свежего ветра,
весеннего, тёплого ветра,
грядущих больших перемен.

Придётся нам с ними меняться,
приходится сильно меняться,
чтоб всем нам в плену не остаться,
в капкане вчерашних идей.

А день был, вчерашний прекрасный,
весёлый, прошедший как праздник,
ушедший от нас, словно странник,
его никогда не вернуть.

День новый нам рвётся навстречу,
стремительно рвётся навстречу,
меняя все планы и цели
и в нём нам приходится жить.

В нём снова придётся меняться,
за счастье с упорством сражаться,
в своей правоте утверждаться,
чтоб трудности все победить.

И так без конца и начала,
чтоб сердце с любовью стучало,

чтоб воли и силы хватало,
для новых, больших перемен.

[172]

ОСЕНЬ В БЕРЛИНЕ

Это золото листвы не даёт душе покоя,
А прохлада высоты, как спасенье от застоя.
Снова хочется летать, за мечтой своею мчаться,
Акварели рисовать и Берлином любоваться.

В дождь и в утренний туман ускользнувшего безлетья,
Устоять бы на ветру двадцать первого столетья.
Что нас ждёт там впереди, в ускореньях изменений,
Бесконечности прогресс или гибель от сражений?

Время кружится, летит, устилая путь годами,
И они, как и листва, тихо мнутся под шагами.

Вениамин Палагашвили

ГРАНАТ

Плод граната — символ жизни на Востоке.

Напрасен труд листать трактаты –
желающим познать
природы чудо, плод граната
достаточно разъять.

В нем стеснены рубины зёрен
в извилистых рядах,
в нем дух живёт единокровья,
как в древних племенах.

В живом пространстве, разделённом
подобием границ,
весь мир! В нем, тесно населённом,
нет посторонних лиц.

В гранате – суть мироустройства,
в нем – промысел творца...
И плоть, и кровь, и тайна первородства
в загадке мудреца.

ТЕЛЕЗРИТЕЛЮ

Нынче ветер, в отличие от прежних времён,
словно мстит нам своим постоянством. Природа
заместила как-будто одним ноябрём
все другие периоды года.

С площадей и аллей выметая листву,
гонит хмурых людей по домам непогода,
ибо предчувствие скорой невзгоды
легче в дому переждать большинству.

Глядя в экран, по мельканью бегущей строки
узнаёшь о разборках меж толпами левых и правых,
сколько в сваре легло правоверных и сколь православных,
- виноватых найти бы, но нам их искать не с руки.

А виновен всегда проигравший – его и судить
будет публично Фемида на первом канале.
Суд справедлив – в этом ты усомнишься едва-ли,
но погоди, телезритель, ко сну отходить.

Фильм продолжается, замысел крут, а сюжет
прост и тосклив нестерпимо, как наша планида,
- нынче на взятке с поличным попалась Фемида.
Завтра на смену придёт Немезида, а может и нет.

В этом пространстве с экранами вместо дверей
песня звучит на слова и мотив подворотни.
Слушая текст, прославляющий чёрную сотню,
лечит в своем далеке ностальгию еврей.

Время – в кровать, но тебе не до сна, дорогой?
Значит, не зря постарались творцы сериала
показать, как опять патриот замочил либерала,
не жалея стараний и денег для цели такой.

Погаси же экран, обратись к своему естеству
и включи сериал на тебе лишь известной программе.
Ты увидишь свой дом и лицо молодой своей мамы,
и себя пацаном, и в окне молодую листву.

Ты увидишь себя на пути, что ведёт в неизвестность,
и впервые к тебе обращённый внимательный взгляд
той, нечаянно встреченной, канувшей в вечность,
той, что время твоё возвращает назад.

СВОБОДА

Устав стоять два века кряду
по прихоти Делакура,
сошла Свобода с баррикады
под пролетарское «Ура!»

Она шагнула, увлекая
вольнлюбивых простаков
и дальновидных негодяев,
дождавшихся свободы слов.

Она отменит навсегда
табу, запреты и пределы,
она сорвёт оковы с тела,
его избавив от стыда.

Лишь вольным людям по плечу
во имя равенства и братства,
чужое разделив богатство,
осуществить свою мечту.

Ликует шалая Свобода
и, шествуя по площадям
в толпе взбесившегося сброда,
не верит собственным глазам.

На разгулявшейся волне
выносит на берег стихия
всё то, что пряталось на дне
и всплыло в эти дни лихие.

Её теснят ряды бойцов
с остекленевшими глазами,
идущих по следам отцов
на вечную борьбу с жидами.

С благословения властей
колонны вольных содомитов
ведут свободно и открыто
на свой парад чужих детей.

Её хватают за подол,
влекут в кабаки за вдохновеньем,
чтоб с ней обмыть освобожденье,
втащив на шутовской престол.

И изумленная Свобода
бежит стремглав, спасаясь от
осатаневшего народа,
вкусившего дурман свобод,

чтоб вновь взойти на баррикады,
как-будто не она вчера
вела погромные отряды
под пролетарское «Ура!»

* * *

Вот и встал на крыло повзрослевший птенец –
сам себе сувереном он стал наконец.
Он так долго мечтал научиться летать,
чтоб, покинув гнездо, независимым стать.

Мы и впрямь постарели с тобою вдвоём,
всё сидим – наша сила в терпеньи – и ждём,
когда он, пролетая над старым гнездом,
нам с тобою помашет приветным крылом.

Я скажу откровенно, сейчас для меня
независимость эта не столь и важна:
всё дороже тепло от друзей, сыновей,
мне постыли безумства свободы моей.

Стал зависимым я от мерцанья свечи,
что в соседском окне догорает в ночи,
и от памятных лиц, что не встретятся мне
никогда наяву, иногда лишь во сне.

И чем дольше живу, тем завишу сильнеей
от тебя, от тревожной улыбки твоей,
от всего, чем я жил, и от тех, с кем живу,
без которых ни жить, ни дышать не могу.

Елена Ямова

КАКТУС И ОРХИДЕЯ

Сказка

Это произошло в старом-престаром кирпичном доме, где скрипучая лестница вела на верхний этаж к квартире с деревянной дверью. Многочисленные слои краски скрывали под собой причудливую резьбу, когда-то украшавшую дверь. Там в одной из комнат, на узком холодном подоконнике жил-был Кактус. Жил он в тесном и уже давным-давно давшем трещины глиняном горшке. Стоял он многие годы на одном и том же месте. Лишь при уборке, вытирая налетевшую в щели пыль, крепкая мужская рука отодвигала его аккуратно в сторону. Потом неизменно цветок оказывался на прежнем месте. Все это время хозяином Кактуса был печальный молодой человек. Он получил цветок в наследство от своей бабушки Герды. Колючее чудо не требовало большого ухода и никому не мешало. Оно стояло, уныло поглядывая в окно.

Медленно тянулись дни и как-то незаметно пролетали годы. Кактус, казалась, совсем не менялся, но терракотовый горшок почему-то стал теснее.

Так в жизни Кактуса всё было бы без перемен, если бы однажды в безлюдном окне напротив он не увидел вечером свет. Потом свет в окне появлялся снова и снова. Спустя некоторое время окно украсили ажурные занавески, а затем обитателем уютного подоконника стала красавица Орхидея.

Это невероятное событие заставило Кактус вспомнить былое время, совсем другой подоконник, где в окружении множества цветущих растений он был самым маленьким и любимым.

Его прежняя хозяйка Герда трепетно относилась ко всему живому и особенно гордилась своими цветами. Её муж был исследователем и путешественником и часто привозил ей семена и отростки всевозможных диковинных растений. На широком подоконнике уживались обитатели разных уголков планеты. Дивные творения природы прекрасно росли и в той части громадного сада, куда выходило окно, на котором родился и провел часть жизни Кактус. Его мама была из далекой Южной Америки. Он вспоминал истории, которые рассказывали ему цветы, растущие вокруг. Сейчас, глядя на цветущую Орхидею, он вдруг почувствовал тот нежный, еле уловимый запах – запах своего детства, аромат цветущей мамы и нежные руки Герды, которые он не раз колол, а потом долго переживал за содеянное.

– Ты достаточно подрост, – ласково сказала она, пересаживая его в этот горшок, в котором он рос и поныне. – Пройдут годы, и ты тоже будешь цвести и своим цветением радовать окружающих, – добавила она, поливая его тёплой, согретой солнцем водой.

Он вспоминал это, и ему почему-то становилось очень грустно.

– Как интересно, это было как будто вчера, а иногда кажется, что это случилось давно и не со мной. А может, это был сон?

Стёжившись, рассуждал он, кого теперь смогут порадовать его цветы? И вообще, смогу ли я когда-нибудь зацвести.

– Да,.. – размышлял Кактус, – может быть, милая Герда была права? Нужно всегда дарить радость, пусть даже ты не знаешь, кому и не знаешь, как это сделать. А может, как та Орхидея напротив, она не замечает меня, но радуется своим цветением всех окружающих. Ведь это, оказывается, так просто.

В тот день за окном шёл проливной весенний дождь. Сильный ветер раскачивал дерево, ветки, которого колотили по жестяному подоконнику, постоянно отвлекая Кактуса от приятных воспоминаний и размышлений. К вечеру погода ухудшилась, а ночью пронёсся ураган, сломивший верхушку дерева.

Утром Кактус снова посмотрел на Орхидею и вспомнил Герду, свою покровительницу. Она не называла меня вечнозеленою колючкой, – подумал обиженно Кактус, – я был для неё самым любимым.

Вдруг размышления Кактуса прервало выглянувшее из-за тучи солнце. Тёплый весенний Луч впервые за многие годы пробежал по подоконнику и коснулся колючек.

– Как ты попал сюда? – удивленно спросил Кактус. Он почувствовал тепло, и ему стало даже уютно на своем узком и нелюбимом подоконнике.

Кактус попробовал расправить свои колючки, и это у него полу-

чилося, теплота пробежала по всему телу, и он понял, что стал расти. Вдруг раздался какой-то странный звук, Кактус полетел куда-то вниз и Лучик исчез. Только тогда, когда он очутился на полу, понял, что это треснул и развалился его старый горшок, но не успел Кактус прийти в себя, как Лучик снова появился рядом и озорно пробежал по Кактусу.

– Ты что, играешь со мной? – сварливо сказал Кактус, – от твоей игры я упал и ушибся!

– Прости, – шаловливо ответил Лучик, – я совершенно этого не хотел, я не настолько силен, чтобы сдвинуть тебя с места, я же не ветер, который гоняет всё вокруг, сгибает и ломает деревья. Я... я всего лишь молодой тёплый весенний Лучик, пробудивший тебя от долгого зимнего сна.

– Постой, ты сказал, что разбудил меня, – перебил его лежащий на полу обиженный Кактус, – но я не спал!

Потом он поразмыслил, и ему действительно показалось, что всё это было бесконечным сном.

Но в это время подгоняемая сильным ветром, кудлатая, сизая грозовая туча закрыла солнце и Лучик куда-то исчез. Он так и не появился.

Целый день за окном шумел дождь, а потом и вообще стало темно.

Когда щёлкнул дверной замок и в комнате включили свет, Кактус даже вскрикнул от неожиданности, но его никто не услышал. Потом свет погас и послышались удаляющиеся шаги по скрипучей лестнице.

– Да, я совершенно никому не нужен, он даже не заметил, что я упал.

Кактус вспомнил, как однажды ветер подтолкнул створку окна, поломав цветы и разбив горшок с китайской розой, как Герда бережно пересадила её и роза в благодарность зацвела вновь. Кактус вспоминал дорогие и приятные события. Он даже не услышал приближающиеся шаги. Вдруг щёлкнул выключатель и стало опять светло.

– Ты достаточно попрос, – ласково произнес молодой человек, приблизившись к Кактусу, – я давно хотел заняться тобой, но прости, не хватало времени.

Хотя голос и был мужским, но в нем слышалась интонация Герды.

– Как, этого не может быть, – от радости Кактус расправил свои иголки, и конечно же, уколол пальцы юноши.

– Ну, что же ты так, – укоризненно сказал он, – потерпи, я не сделаю тебе ничего плохого.

– Прости! – воскликнул Кактус, но молодой человек не услышал его, он увлеченно напевал любимую бабушкину песню. От неё Кактусу стало хорошо, он хотел было вновь расправить колючки, но не стал этого делать.

Когда мужчина пересадил его в новый горшок, он поставил Кактус на прежнее место и взглянул в окно. Он увидел сломанное дерево и подумал, что теперь солнце будет у них частым гостем. И тут взгляд его упал на орхидею в освещённом окне напротив, которую он раньше не замечал.

– Знаешь, Кактус, а ведь ты для меня сегодня многое сделал, – сказал молодой человек, – ты заставил меня совершить то, что я бы ни когда в жизни не сделал. А ещё я посмотрел на жизнь по-новому. Теперь понятно, что не надо ждать, пока тесный горшок треснет, надо просто вовремя поменять его.

Весь следующий день Кактус с нетерпением ждал появления Лучика, чтобы поболтать и поделиться с ним тем, что произошло. Но сегодня был настолько сильный туман, что он даже не смог увидеть соседку Орхидею.

Вечером, когда молодой человек вернулся домой, он уже не был таким грустным.

– Привет, Кактус, – сказал он, – как тебе нравится твое новое жилище?

Он вдруг достал из большого бумажного пакета цветущую Орхидею, точно такую, как в окне напротив.

– Теперь тебе не будет так одиноко, – сказал он.

Усыпанная белыми цветами, она была царственно прекрасна. Всю ночь Кактус беседовал с ней. Он рассказывал о своем новом друге Лучике, о сломанной верхушке дерева, об орхидее в окне напротив, о своей долгой и непростой жизни, о Герде и о самом заветном, – о своей мечте – зацвести. Она внимательно слушала, склонившись к нему.

Под утро Кактус крепко уснул. Ему снился сон, что он цветёт необычно большими и яркими цветами. А когда он проснулся, то действительно увидел себя осыпанным цветами.

– Смотри, Орхидея! Я зацвёл! – радостно воскликнул Кактус. Но Орхидеи не было рядом, лишь только тоненькая зелёная ветвь свисала сверху.

– Где ты, Орхидея? – с тревогой спросил Кактус.

– Я здесь, – тихо ответила зелёная веточка.

– Это ты, красавица Орхидея? – изумлённо спросил Кактус. – А где твои цветы? – недоумевая, продолжил он... – Ты подарила их мне?.. Исполнив мою мечту?..

Кактус почувствовал, как безмерная радость мгновенно сменилась печалью. Целый день Кактус молчал. На душе у него было так же пасмурно и беспросветно, как и за окном, где шёл проливной дождь.

В душе Кактуса всё клокотало и хотело вырваться наружу, он не знал, что ему делать. Так прошли день и ночь. На следующий день, как только проснулось солнце, озорной лучик появился снова.

– О! Как ты прекрасен Кактус, – воскликнул Лучик, увидев Кактус цветущим, – и что за палка висит над тобой!?

Разгневанный Кактус хотел было рассказать всё Лучику, что это не его цветы, но не мог найти подходящих слов. В этот момент в нём что-то взорвалось, и он вознёсся вверх. Большой бутон стремительно потянулся к зелёной веточке Орхидеи. Прижавшись к ней, он превратился в огромный цветок. Нежный аромат заполнил всю комнату.

Людмила Тайц

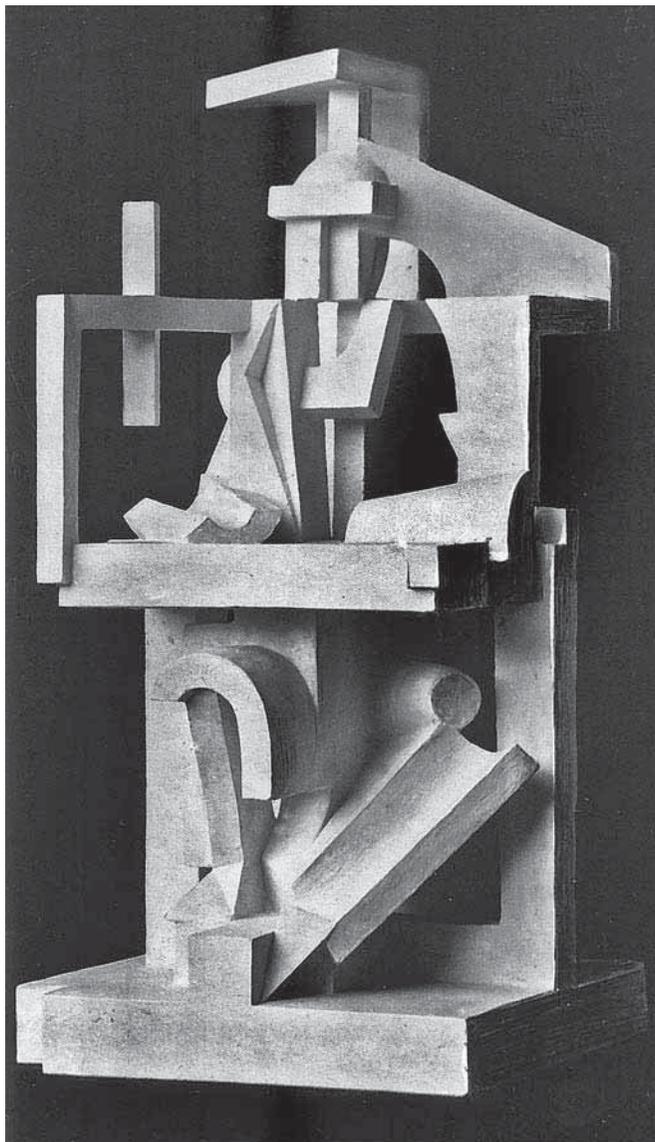
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В ИЗРАИЛЬ

Я часто думаю о дальней той стране,
Где по велению судьбы я буду жить.
Родные там скучают обо мне,
Там привыкать мне вновь жизнь заново любить.

Я устремлю свой взгляд в далёкий небосвод.
Там гуще синева и краски ярче.
И звёзды водят там иной уж хоровод,
И солнце греет пламенней и жарче.

Там нету холодов и снега нет зимой,
И не скрипит призывно лёд хрустящий.
И вспомню я о Родине, почти чужой.
Вздохну о прошлом и о настоящем.

Не буду больше я таких стихов писать,
Пусть останутся лишь в сердца глубине.
И только самым близким я смогу сказать
О горечи в моём пригубленном вине.



Публицистика. Мемуары. Эссе

Д и П 18 / 2014

Карл Абрагам

СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДЕТИ

18 февраля 1943 года из Суэца в Атлиг (предместье Хайфы) прибыл поезд с польскими евреями. Эти люди, преследуемые нацистами, а затем органами НКВД, пройдя все круги ада, через три с половиной года обрели, наконец, покой, оказавшись на относительно спокойной земле Палестины, в то время – подмандатной территории Великобритании. Среди 1230 беженцев было 369 взрослых и 861 ребёнок. 142 ребёнка прибыло с одним или двумя родителями, остальные (719) – оказались круглыми сиротами, потерявшими за годы скитаний своих родителей. О скорбном пути пассажиров этого поезда рассказывает в своей книге «Дети Сиона» польский писатель и публицист Генрик Гринберг.

Когда началась война, ему было три года. Он родился в Варшаве в 1936 году, в еврейской семье. Детство провёл в деревне Радошин, что на востоке Мазовецкого воеводства. Во время оккупации почти вся семья погибла. Уцелели только мать и малолетний Генрик. Они прятались у знакомых в самом Радошине и его окрестностях. Кроме этого, матери удалось выправить в Варшаве «арийские документы» и на себя, и на сына.

Окончилась война, мальчик пошёл в школу. С 1954 по 1958 гг. он – студент факультета журналистики Варшавского университета. В течение последующих девяти лет – артист Варшавского государственного Еврейского театра. В одну из заграничных гастролей молодой человек остался на Западе. С 1967 года и по сей день – живёт в США. В 1971 году Гринберг окончил факультет славистики Калифорнийского университета в Лос-Анжелесе по специальности «Русская литература».

До 1991 года работал в Информационном Агентстве Соединённых Штатов, сотрудничал на радио «Голос Америки» и недолго – в парижском журнале «Культура». Опубликовал около 20 книг на польском языке. Наиболее известные из них – «Еврейская война», «Дети Сиона», «Кадиш по-калифорнийски» и «Дрогобыч, Дрогобыч: двенадцать рассказов» Ни одна из его книг на русский язык не переведена. До 1987 года его произведения на родине не издавались. Гринберг считает себя летописцем Холокоста и польско-еврейских отношений.

Однако, вернёмся в Хайфу 1943 года. Прибывшие были встречены сотрудниками информационного центра «Восток» – учреждения польского правительства в изгнании и представителями Красного Полумесяца.

В августе того же года в Палестину прибыла вторая партия польских евреев, в том числе – 110 детей. После непродолжительного отдыха всем прибывшим было предложено заполнить вопросник, в котором кроме паспортных данных, следовало рассказать о своей жизни, начиная с первых дней войны, до прибытия в Палестину. Заполненные вопросники легли в основу протоколов, которые велись на польском языке. Они по сегодняшний день находятся в архиве Института им. Г. К. Гувера в Стенфорде (США).

В основу документальной повести «Дети Сиона» легли свидетельства 73 детей в возрасте от 10 до 18 лет. Рассказы детей, ещё не научившихся врать, ввергнутых в пучину событий Второй мировой войны и находившихся в условиях, где каждый день мог оказаться последним в их жизни, поражают будничностью изложения, кажущимся отсутствием эмоций и бесстрастным, почти протокольным языком. Так писали свои дневники такие их ровесники, как блокадница Таня Савичева, умершая от голода в блокадном Ленинграде, и жертва Холокоста Анна Франк, погибшая в газовой камере.

Война началась в пятницу, первого сентября. По пятницам, как известно, евреи ждут появления на небосводе первой звезды, возвещающей о наступлении шабата, но в тот день небо для евреев заволкло тучами, и страна на целых шесть лет погрузилась во мрак. К началу Второй мировой войны население Польши составило 35 миллионов, каждый десятый из них исповедовал иудаизм.

Основная часть польского еврейства проживала в местечках, и вся мощь гитлеровской авиации обрушилась прежде всего на эти населённые пункты. Немцы сбрасывали на них и на кварталы преимущественного проживания евреев больших городов зажигательные бомбы. Многие местечки выгорали дотла. Нетронутыми оставались

каменные постройки, и то не все. Люди оказались на улице. В этой ситуации кто как мог, кроме стариков и больных, устремился на восток страны. Одни рассчитывали найти приют у родственников, другие – защиту у восточного соседа, Советского Союза. Бежали трудно: кто на поезде, кто на подводах, редкие – на грузовиках, основная масса – пешком. Те, кто шёл пешком, подвергались смертельной опасности: их расстреливали с воздуха. Вокзалы и пристанционные здания были частично разрушены. Поезда – переполнены, в них нельзя было ни сидеть, ни стоять. Вагоны брали штурмом. Чтобы «занять место», шли по головам, дрались до крови, оскорбляли друг друга. Дети плакали в ужасе потерять родителей. Поезда с беженцами также подвергались бомбардировке. Транспорт в этом случае останавливался, а люди, ехавшие в поезде, прятались под вагонами. Отбомбившись, немцы улетали, а поезд с беженцами, набирая скорость, двигался дальше. Пассажиры на ходу запрыгивали в вагоны. Некоторые из них срыгались и падали под колёса.

Убедившись, что на востоке жить ничуть не безопаснее, чем в западной части страны, евреи возвращались в свои разорённые гнёзда. Миграция беженцев восток – запад – восток, вызванная отчаянием и безысходностью, стала меняться 17 сентября тридцать девятого года после вторжения советских частей в Польшу. Основная масса беженцев, откровенно подталкиваемая немецким командованием, хлынула на территорию, занятую Красной Армией. Их собралось так много, что заместитель наркома иностранных дел Советского правительства В.П. Потёмкин был вынужден обратиться с протестом к тогдашнему послу Германии в Москве графу Ф.В. фон Шуленбургу¹ в связи с «насильственной переброской через границу значительной группы еврейского населения». Протест так и остался протестом: переход польских евреев на советскую сторону после заявления советского дипломата ничуть не уменьшился, напротив, он принял массовый характер. Советские пограничники практически не могли оказать должного сопротивления потоку беженцев. О том, что переход через границу был связан часто с угрозой для жизни, будет в подробностях рассказано ниже. Здесь лишь напомним, что граница между гитлеровской Германией и Советским Союзом была установлена 29 сентября. Таким образом, к концу сентября тридцать девятого года раздел Польши был завершён.

Задолго до печально известной Ванзейской конференции нацисты превратили Польшу в полигон, на котором отработывались приёмы по «окончательному решению еврейского вопроса». Поведение немцев на оккупированной территории не поддаётся описанию: они

врывались в дома евреев, выволакивали их на улицу и приказывали убраться из местечка, не разрешая что-либо брать с собой. Либо им приказывали собраться на базарной площади, после чего трудоспособных мужчин отправляли на строительные работы, с которых они, как правило, не возвращались. Немощных мужчин и стариков расстреливали тут же. Мужчинам отрезали бороды или вырывали их, что называется, «с мясом». Нередко евреев сгоняли на майдан, избивали до полусмерти, отнимали то, что ещё можно было отнять (драгоценности, часы, авторучку), а затем расстреливали.

Вот отрывок из исповеди двенадцатилетнего Иосифа П.: «Я спрятался в подвале дома, но немец обнаружил меня и вытащил на улицу. На площадь согнали около 500 мужчин. Это было в субботу, 9 сентября. Нас выгнали в поле, садиться не разрешали. Тех, кто не мог стоять и пытался сесть, били. Вдруг появилась грузовая машина с автоматчиками и начали стрелять по нам. Я упал и не знал, жив я или мёртв. Рядом кто-то пошевелился.

Я открыл глаза и увидел мужчину, который, услышав выстрелы, упал так же, как и я, прежде чем нас могла настичь пуля. Мы подались в лес, но т.к. это было ночью, я потерял своего спутника. С рассветом я вышел в село и увидел там немцев. Они натравили на меня собаку. Она догнала меня и схватила за ногу. Чтобы рана не кровоточила, я залепил её грязью».

В другом населённом пункте всех мужчин, женщин и детей выгнали в поле и заставили встать на колени. Кто не подчинился, тех расстреливали. Немцы при этом не разрешали евреям отправлять свои естественные надобности. Днём их поднимали, заставляли построиться и бегать.

Тех, кто уклонялся от выполнения приказов Вермахта, расстреливали на месте. Убитых следовало похоронить. Могилы рыли не только мужчины, но и женщины. В каждом населённом пункте немцы устраивали еврейские погромы. В этом им активно помогали поляки. После погрома к своей работе приступали мародёры. Немцы брали только шоколад, поляки тащили всё подряд: одежду, обувь, мебель, домашнюю утварь.

В местечке Р. мужчин согнали в грязь и заставили стоять на коленях в течение трёх суток, не давая им ни хлеба, ни воды и не разрешая двигаться. По ночам их освещали прожекторами. При малейшей попытке пошевелиться, в человека стреляли. Некоторые падали без сознания, других настигала пуля. Лишь на четвёртый день им дали хлеба и заставили мостить улицу. В том же населённом пункте девушек заставили своим нижним бельём мыть полы в казармах. После этого

грязное бельё заставляли снова одеть. Местный раввин должен был голыми руками чистить сортиры. Немцы не просто расстреливали евреев; они, прежде чем убить свою жертву, глумились над ней. Издевательства нацистов носили изощрённый характер. Сплошь и рядом поджигались синагоги и молельные дома. Евреев при этом заставляли не только смотреть на горящее культовое здание, но ещё петь и плясать. В другом населённом пункте евреев заставляли облить друг друга бензином, а затем поджечь. Так в местечке Ц, заживо сожгли 50 человек. О подобных издевательствах рассказывали почти все дети. Одна из спасшихся девочек сообщила, что всех мужчин местечка согнали в синагогу, заперли её и обстреляли из артиллерийских орудий. Обречённые, умирая, кричали: «Слушай, Израиль!»

Желание евреев перебраться на советскую сторону совпадало с намерением оккупантов, стремившихся сделать Польшу уже тогда Judenfrei. Они силой гнали людей к границе. Однако, границу или то, что до 29 сентября называлось границей, русские, не заинтересованные в приёме беженцев, открывали только по ночам и то на несколько минут. Неуправляемая масса людей, пытавшаяся перейти на советскую сторону, и подталкиваемая прикладами и пинками эсэсовцев, пыталась опрокинуть пограничные заграждения. Были такие, которые провозглашали здравицы в честь Сталина, но это не помогало. Вот только один из эпизодов перехода польских евреев через границу. Неизвестный польский врач по своей инициативе, желая помочь беженцам, договорился с советским командованием о переходе на советскую сторону четырёхсот евреев. Желających перейти границу в организованном порядке в тот момент оказалось на восемь больше. Этих «лишних» немцы расстреляли. Это произошло на реке Буг в районе города Сокаль. Прежде, чем отпустить евреев на советскую сторону, их тщательно обыскивали и отбирали все ценности. Был случай, когда у одной из женщин – указаны имя и фамилия – палец оторвали вместе с кольцом. Фашисты раздевали людей догола, и в поисках бриллиантов распарывали швы на одежде. Перед этим они в течение 24 часов не давали беженцам есть. Процедура заканчивалась дачей касторового масла. Евреи, оказавшись на территории Советского Союза, обирались местными жителями до нитки: с них срывали более или менее приличную одежду, в результате чего беженцы оказались в буквальном смысле этого слова полуголыми.

Этнические поляки, украинцы, белорусы и польские евреи в одночасье стали жителями Зап. Украины и Зап. Белоруссии. Надо было как-то жить, добывать хлеб насущный. Кто как мог устраивался на работу: рабочим лесопилки, грузчиком, сторожем, вахтёром, рабо-

чим шапочного производства и т. п. Чтобы прокормить себя и свою семью, зарплаты за этот малоквалифицированный труд не хватало. Основная часть евреев пыталась заняться торговлей так, как это они привыкли делать в Польше. Торговали контрабандой: из Польши в СССР доставляли сахар и продукты питания, обратно – соль и бензин. Любые формы частной торговли жёстко пресекались. Вот только несколько примеров: Мордехай Ш., 15 лет, из Лодзи, вспоминает: «Однажды нас с братом задержала милиция в трамвае за то, что мы везли 12 литров водки. Отпустил нас начальник милиции только после получения взятки в размере 200 рублей». Другой мальчик сообщает: «Наш знакомый получил пять лет тюрьмы за то, что у него нашли один доллар». Одна из девочек пишет: «Мой старший брат торговал на улице спичками. Его арестовали и сослали в Сибирь».

Власть поменялась, а мышление людей осталось прежним. Все эти лавки-магазинчики были национализированы, а их владельцев иначе как буржуями не называли. Этой категории людей устроиться на работу было практически невозможно.

Бывшие граждане Польши должны были стать гражданами Советского Союза. Зимой сорокового года власти приступили к паспортизации населения. Помещики получали паспорта с пометкой «13», подозрительные и неблагонадёжные – с пометкой «11». Они не имели права селиться в городах первой и второй категории. Паспорта бывших чиновников, общественных деятелей и раввинов были действительны лишь в течение трёх месяцев.

Не только польские евреи, но и часть этнических поляков не хотели лишаться польского подданства. Кроме этого, они опасались, что получение советского гражданства не позволит им когда-либо покинуть эту страну и, в общем-то, были правы. В рукописи «К вопросу о национальной политике» Ленин характеризовал Россию как «тюрьму народов». После Октябрьского переворота в этом отношении мало что изменилось: Россия как была «тюрьмой народов», так ею и осталась. Оказавшись на территории западных областей Украины и Белоруссии, часть населения хотела вернуться в оккупированную немцами Польшу, чтобы оттуда эмигрировать в Америку или Палестину. Для желающих вернуться были созданы центры, в которых они могли зарегистрироваться. Сотрудники НКВД постоянно контролировали деятельность этих центров. Одна девочка пишет: «Мой отец написал письмо своему брату в Америку с просьбой помочь ему в получении визы. На следующий день папу пригласили в местное отделение НКВД на «собеседование». Вернувшись, он сказал: «Они ещё хуже немцев». Некоторые беженцы пытались получить работу в

России. Один из опрошенных рассказал, что его отец устроился работать на Балахнинский бумажный комбинат, но скоро вернулся, т.к. еда в заводской столовой не была кошерной. Случай такого рода не единственный в рассказах детей.

Как известно, в декабре 1937 года в Советском Союзе были проведены выборы в Верховный Совет СССР. Два года спустя жителям Зап. Белоруссии и Зап. Украины предстояло выбрать депутатов в местные Советы. Потенциальные избиратели часто отказывались принять участие в выборах, мотивируя это тем, что им неизвестны кандидаты в депутаты и чьи интересы они представляют. В результате в местные Советы были избраны украинцы, белорусы, либо люди со стороны, приехавшие из России. Один из опрашиваемых рассказал о том, как проводились выборы во Львове: «Весь город был разделён на участки (в авторском тексте «на блоки»). Во главе участка стоял комендант, который следил за тем, чтобы всё взрослое население проголосовало. Большим урну для голосования приносили домой. Голосовали поспешно. Ни одного еврея или поляка в этих списках не значилось. Тех, кто уклонялся от голосования, арестовывали и ссылали в Сибирь».

В конце июня 1940 года всех противников новой власти, отказавшихся от советского гражданства, уклонявшихся от участия в выборах и заявивших о своём желании вернуться в Польшу, сослали в Сибирь или другие глухие таёжные места. Вот как это было:

28 и 29 июня 1940 года, глубокой ночью, подчёркиваю, ночью, а не днём, энкаведэшники поднимали евреев с постели и гнали их к вокзалу. На недоумённые вопросы «куда и зачем» отвечали по-разному: «вы едете в Германию, как вы того желали. Мы отправляем вас в Польшу, вы едете в Белосток или вы переезжаете на новое место жительства. Быстренько собирайтесь, и возьмите с собой только самое необходимое. Машина (подвода) ждёт вас у подъезда». В небольших населённых пунктах люди шли к вокзалу в сопровождении охраны пешком. На станции их грузили в товарные вагоны, по 40-50 человек в каждый, после чего вагон закрывали и опломбировывали. Лишь некоторые вагоны были с маленькими окошками, в других было вовсе темно.

В течение 24 часов, а иногда и двух-трёх суток, людям не давали ни еды, ни питья. Вместо отхожего места в полу вагона была дыра. Поначалу мужчины и, особенно, женщины, стеснялись в присутствии друг друга отправлять свои физиологические потребности, но потом к этому унижению притерпелись. Я не могу избавить читателя от таких натуралистических подробностей, ибо так написали дети, и их стилистику мне менять не хотелось бы. Короче, людей превратили в

скот. Лишь на крупных станциях двери вагона открывались, и тогда женщины могли запастись водой, купить хлеба и пойти в сопровождении часового в уборную. На этих стоянках вохровцы бдительно следили за тем, чтобы к составу никто не приближался, хотя такие поползновения были: местные евреи пытались передать несчастным что-нибудь съестное. Иногда это удавалось.

Дорога в ссылку длилась от двух до четырёх недель. Всё зависело от места назначения. Вначале люди думали, что они действительно едут на родину, в Польшу, но уже через несколько часов поняли, что их обманули, выражаясь современным сленгом, «кинули». Где-то на третий - четвёртый день после того, как они покинули пределы Зап. Белоруссии и Зап. Украины, каждый получил полкило хлеба и немного баланды, именовавшейся супом. Рацион этот не менялся в течении всей дороги. Наиболее религиозные евреи от супа отказывались, считая баланду трэфной. Они не только сами её не ели, но и запрещали это делать членам своей семьи. Далеко не все слушались отца семейства. После такого «супа» у многих начался кровавый понос, иначе – дизентерия. Некоторые умирали в дороге. Ссылные требовали, чтобы умерших убрали из вагона. В таких случаях состав останавливался в степи или другом безлюдном месте, и покойника хоронили непосредственно у железнодорожной насыпи.

Больше всего ссылные страдали от жажды, от жары и от невыносимой вони в вагоне. От этого смрада люди падали в обморок, теряя сознание. Какая-либо медицинская помощь отсутствовала. «Мы кричали, плакали, звали на помощь, – пишет одна девочка, – но нас никто не хотел слышать».

¹ Ф.В. Шуленбург (1875–1944) – немецкий дипломат, посол Германии в СССР (1934–1941), участник Сопротивления, приговорён к смертной казни.

(Продолжение следует)

Мина Полянская

ФРИДРИХ ГОРЕНШТЕЙН И БЕРЛИНСКИЙ ЖУРНАЛ «ЗЕРКАЛО ЗАГАДОК»

В 1995 году наша семья создала в Берлине культурно-политический журнал «Зеркало Загадок». Главным редактором стал мой сын Игорь Полянский, тогда студент Свободного университета Берлина, мне предоставлялась роль литературного редактора, а за техническую редакцию отвечал мой муж Борис Антипов.

Для «Зеркала Загадок» было важно получить в качестве автора Фридриха Горенштейна, по сути дела, живого классика. Горенштейн жил в Берлине один, поскольку недавно развёлся с женой Инной Прокопец (писатель был дважды женат. Первая жена Мария Балан была актрисой цыганского театра «Ромэн»), и круг замкнулся: начало жизни – бессемейное и даже сиротский дом, и последние почти десять лет – также без семьи. Тема сиротства, обладавшая мощной, неисчерпаемой энергией, стала нервом его творчества, где нет места спорам и дискуссиям, поскольку в мире сиротства нет ни учеников, ни учителей, и не изменить здесь ничего, как не изменить звёздной орбиты. И в романе «Псалом», и в романе «Искушение», и в повести «Улица Красных Зорь», и так далее – легче было бы назвать исключения – звучит трагическая тема сиротства. Тема отщепенства, поиска временного пристанища, короче, места жительства, получила своё окончательное выражение в романе «Место».

Мы были знакомы с творчеством Горенштейна, но о его судьбе фатального невезения (по вине не читателей, а литературных коллег) ничего не знали. Уже потом в процессе нашего знакомства стал вырисовываться для нас воистину кафкианский образ русской литературы. НЕКТО (а именно Горенштейн) в литературе активно работал,

но его – не было. Обозначались контуры человека из далёких 60-х, 70-х годов – таинственного литератора в маске, о котором тогда разносились московские слухи, проникая в разные литературные уголки. Созидался миф о мастере бедном, так же как создан был миф о мастере-дворнике Андрее Платонове. Михаил Городинский рассказывал мне, как однажды он с коллегами сидел в привилегированном литературном московском кафе, и вдруг вошёл – ОН, мифический автор, а «реальные» авторы перешёптывались, глядя на него с благоговением: «Это он, это он, Горенштейн!» Мастер, как его называли, прошёл мимо, огляделся, вероятно, кого-то искал, и вышел. А тем временем на экранах, в том числе и заграничных, победно демонстрировались фильмы по его сценариям, в титрах которых не было его имени, составившие (составляющие и сейчас) гордость советского кинематографа. Он написал около двух десятков сценариев, экранизированы были 8, среди них, кроме «Рабы любви» (1975) и «Соляриса» (1972), «Седьмая пуля».

Я впоследствии говорила писателю, что, конечно, «можно рукопись продать», но со своей подписью и что он, Горенштейн, способствовал процветанию «крошек цахесов», и писатель соглашался – сожалел, что в годы бедности поддался соблазну и продавал сценарии.

Пожалуй, я не буду по возможности выдавать информацию о проданных сценариях (500 рублей за сценарий – средняя цена) потому, что, размышляя подолгу на эту мистическую, фантазмагорическую даже тему, пришла к выводу, что в деле Горенштейна присутствует тема не столько крошки Цахеса, сколько Петера Шлемиля, добровольно продавшего свою тень. Но как бы мне здесь не перегнуть палку: под тенью у Шамиссо подразумевалась, кажется, чуть ли не душа. Так что, когда дело касается загадочных немецких романтиков, сравнения следует делать очень осторожно, а Горенштейн не только душу сохранил, но создал роман «Псалом»,¹ текст которого находится уже за границами человеческого понимания. К тому же, прозу свою, даже в самые голодные свои дни, писатель не продавал.

Два факта этой несостоявшейся литературной судьбы не дают мне сейчас покоя, два произведения снова и снова занимают моё воображение – рассказ «Дом с башенкой»² и повесть «Зима 53 года». Разумеется, я не стану излагать биографию Фридриха Наумовича после написания книг о нём с подробным изложением событий (в том числе и о расстреле отца, профессора-экономиста Наума Исаевича, в 37 году, и смерти матери в эвакуации) в «Берлинских записках о Фридрихе Горенштейне»,³ где я основывалась на рассказах самого писателя, документах, которые он показывал и магнитофонных записях, продиктованных им и хранящихся у меня.

Рассказ «Дом с башенкой», как я теперь всё больше понимаю – первый сюжетный поворот винта (согласно выражению Генри Джеймса) творческой судьбы писателя.

Горенштейн выпал из литературного процесса, благодаря (вопреки) двум своим выдающимся творениям. Сюжет «Дома с башенкой» известен теперь многим, но всё же очень кратко его напомним: мальчик едет с мамой в поезде в эвакуацию в Сибирь. Мама заболевает, на какой-то станции её на носилках уносят и везут в больницу. Мальчик выходит из поезда, мечется по городу в поисках единственной в городе больницы, а когда находит, мать умирает у него на глазах. (На самом деле Горенштейн и его мать всё же добрались до цели – это был среднеазиатский городок Наманган, где в 1942 году Энна Абрамовна умерла от свирепствовавшего там тифа, а мальчика отправили в детский дом. Мать успела зарегистрировать будущего писателя в Намангане, где по странному совпадению в 1942 году тоже от тифа умерли мои бабушка Мина Лернер, урожденная Лозман, и дедушка Ихил Лернер и похоронены в братской могиле. Не в одной ли братской могиле похоронены мои бабушка и дедушка и мама Фридриха?). Рассказ был не без труда, с приключениями опубликован в 1964 году в «Юности», однако несмотря на успех публикации, автор исчез, надолго. На 30 лет! Вот такой поворот (а о том, что виной была не столько власть, по мнению писателя, сколько литературное окружение, зависть и пр., я рассказала в своих книгах).

Второе значительное для русской литературы произведение – повесть «Зима 53 года», написанная в 1965 году. За 10 лет до написания повести, в 1955 г., Горенштейн стал обладателем диплома горного инженера и получил распределение на шахту в Кривой Рог. Герой повести Ким, как и автор, личность с неподходящей анкетой, у него также репрессированы родители. Обвинённый в космополитизме, Ким числен из университета. Сын «врага народа» работает на шахте под постоянной угрозой ареста и в конце повести погибает.

Безысходное положение, в котором находился Ким, ничуть не лучше положения Ивана Денисовича из повести Солженицына.⁴ Более того, в то время как у Ивана Денисовича остаётся хотя бы надежда выжить и освободиться, «свободный» Ким знает, что надежды нет – «освободиться» можно либо в лагерь, прямою к Ивану Денисовичу, либо в смерть, что, собственно, и произошло, когда исчезла последняя опора жизни – любовь к ней. Горенштейн в «Зиме 53-го года» полемизировал с повестью Солженицына. Дескать, зачем далеко ходить? Вы пишете об экстремальных условиях в сталинском подневолье, а я докажу, что на воле бывало не лучше. «Новый мир» отказался эту по-

весть опубликовать, хотя литературный редактор журнала Анна Берзер была в восторге от неё.

Для меня в творческой биографии Горенштейна история с «Зимой 53-го года» – это «второй поворот винта», произведение было искусственно (насильно) спрятано от читателя, запомнившего Горенштейна после «Дома с башенкой». Примечательно, что после неудачи с повестью Горенштейн свою художественную прозу никому не показывал. Таким образом, все книги Горенштейна на десятилетия были спрятаны от читателя, того самого читателя, который, согласно меткому выражению Набокова, спасает писателя от «гибельной власти императоров, диктаторов, священников, пуритан, обывателей, политических моралистов, полицейских, почтовых служащих и резонеров». Горенштейн, когда в очередной раз жаловался нам на невезение, вспоминал именно «Зиму 53 года». Для самоуспокоения он сочинил некую теорию писательского «неуспеха», находил даже положительные стороны в разрыве с Москвой и заявлял, что если бы суета в «Новом мире» из-за шахтёрского романа завершилась в его пользу, он стал бы благополучным, успешным, хорошо оплачиваемым писателем и вряд ли написал бы романы «Место» и «Псалом». Так что судьба поступила с ним жестоко, но верно.

Но когда мы появились на пороге квартиры писателя, мы не знали ничего о трагической судьбе мастера. Нам открыл дверь человек роста выше среднего в тельняшке, коротко остриженный, с седоватыми усами. Позднее я узнала, что он был по-детски влюблен в романтику морских путешествий, во всевозможные морские атрибуты и символы.

Квартира у Горенштейна была трёхкомнатная, на четвёртом этаже. Слева от входной двери, в самом начале длинного и узкого коридора располагалась небольшая комната, служившая одновременно и кабинетом, и библиотекой, и спальней; следующая дверь вела в такую же маленькую комнату, которая была когда-то детской сына Дани и, наконец, третья дверь слева была распахнута в такую же маленькую кухню. Там у окна красовались в вазах и корзинках разнообразные натюрморты из овощей и фруктов: выложенные затейливыми орнаментами апельсины, бананы, огурцы и помидоры. Слева в углу гостиной стоял жизненно важный «персонаж» – большой солидный телевизор, необходимый для существования писателя. Горенштейн был политиком самого высокого накала и, слушая политические новости, гневно кричал и грозил кому-то в экран, ругался с телевизором, словом, вёл себя, как болельщик на футбольном матче. По убеждению писателя мир мельчал, мельчали и политики – времена личностных, ярких, та-

лантливых государственных деятелей, таких, как Рузвельт и Черчилль, давно ушли и, наоборот, пришло время Клинтона – «пантофельного мужчины в Белом доме» с опереточными пошлыми сюжетами личной биографии, которыми забавлялся весь мир.

Итак, Горенштейн провел нас в гостиную, усадил за стол на табуретки и без предисловий заявил, что в России его не публикуют. Он сказал это так, как будто продолжил недавно прерванный разговор (мы виделись впервые). Именно такая манера начинать разговор с середины или с конца и сбивала с толку многих собеседников. «Недавно был в Москве, – продолжал он, – прошёлся по книжным магазинам. Там на полках лежат любимцы вашей интеллигенции: Довлатов, Окуджава, Битов. А меня нет! Меня издавать не хотят. Говорят, спрос маленький, тираж не окупится». Он говорил спокойно, привычно. И было очевидно, что возражать не следует. А собственно, зачем возражать? Его книг действительно не было в продаже. Обескураживала манера с налету говорить это все неподготовленному собеседнику. Мы, однако, отнеслись к «дежурному», необходимому монологу спокойно. Взгляд у писателя при этом был как будто оценивающий – взгляд искоса. Впоследствии мне казалось, что Горенштейну даже нравится вызывать замешательство у московского или петербургского гостя полемическими выпадами типа: «любимец вашей интеллигенции Окуджава...» и так далее о других знаменитых современниках. И достигал цели. Это и был его эпатаж, поскольку фанатичный культ художника в большей степени характерен именно для России. Так что бунт писателя против российской интеллигенции и истеблишмента был одновременно бунтом против культа личности, против коллективного преклонения перед признанным авторитетом – не важно где, в политике или в искусстве.

Не берусь объяснить, почему Горенштейн отнёсся к нам с доверием, однако то, что мы в своём журнале не «диссидентствовали», видимо, сыграло положительную роль. Любопытно, что некоторым «солидным» людям название «Зеркало Загадок» казалось несерьезным, тогда как Горенштейну оно нравилось. (Название было заимствовано нами у Хорхе Луиса Борхеса). Писателю импонировал не только общий нонконформистский настрой редакции «Зеркала Загадок». Откровенно нравилось ещё и «приятное общество» на страницах журнала и в особенности Ефима Эткинда. Устраивало и соседство Иосифа Бродского, Бориса Хазанова, директора Эрмитажа Пиотровского, Льва Аннинского и многих других. Наша редакция помнила мудрый журналистский опыт редактора «Современника» Николая Алексеевича Некрасова – считаться с пожеланиями «главных» авторов. У Некра-

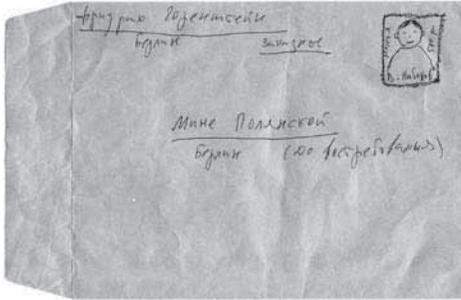
сова это были Тургенев и Толстой, которые, к сожалению, между собой ещё и не ладили, и нужно было находить особый подход к каждому. Для нас таким «главным» автором был Фридрих Горенштейн, и мы не публиковали авторов, которые его лично обидели, тем более, что мы ему в этих «обидях», о которых пишут с иронией, сочувствовали и сопереживали.

С начала знакомства каждый номер «Зеркала Загадок» выходил с большой статьёй Горенштейна, которая занимала много места. Мы ещё умудрялись публиковать и художественные произведения Горенштейна, как правило, небольшие рассказы.

Время от времени раздавался телефонный звонок, и Фридрих просил сделать новую «вставочку». Статья (это могло быть эссе, очерк, памфлет) постепенно от этих «вставочек» увеличивалась вдвое. Вдруг опять раздавался звонок, и кто-нибудь из нас испуганно произносил: «Это, наверное, Фридрих звонит, опять «вставочка!» «Фридрих! Места больше нет, ни строчки!». Но Фридрих «честно» уверял: «Эта «вставочка» совсем маленькая и последняя!». Если бы это было так! Назавтра Фридрих звонил опять и говорил, что вот теперь уж точно последняя, ну, очень маленькая, а главное, очень важная «вставочка». Слово «вставочка» стало «языковой нормой» в обиходе моей семьи. Я пользуюсь им и сейчас в работе над этой книгой. Горенштейн, следуя русской литературной традиции, справедливо полагал, что писатель может и должен «быть гражданином», то есть влиять на политическое развитие общества. Причём как при жизни, так и после смерти – через творчество. Историческая тяга последних лет приобретает особую интенсивность в многочисленных политических статьях, написанных буквально одна за другой для «Зеркала Загадок». Мы печатали его острые полемические статьи, по сути дела, у нас для Горенштейна не существовало слова «нет», поскольку оценили его политическое чутьё по самому высокому счёту. Так, например, мы опубликовали статью «Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина».⁵ События в Боснии, России, Израиле, Чечне становились драматическими фактами его личной биографии. На страницах «Зеркала Загадок» писатель излагал смелые, нелицеприятные мысли, выступал с резкой критикой германских властей и понимал, конечно, что никакое другое немецкое и, тем более, эмигрантское издание в Германии такие статьи публиковать не станет.

С течением времени я все больше понимаю, как своевременно наша семья появилась в жизни этого одинокого человека. Мы встречались с ним не менее двух раз в неделю у нас, но чаще всего в его квартире, а по выходным ездили с ним за город на нашем старень-

ком фольксвагене. Борис Антипов после работы вечером приезжал к Фридриху накапать коту Крису в глаза капли, поскольку на Фридриха кот мог обидеться, а на Бориса – нет. Игорь Полянский, занятый ещё и докторской диссертацией в Йенском университете, вынужден был отрываться от дел, жить у Фридриха и присматривать за котом, когда Фридрих уезжал куда-нибудь, а Фридрих оставлял Игорю торжественные письма-инструкции по уходу за котом, а поскольку телефонные звонки тогда были дорогими, писал ему воззвания на картонных пря-



моугольных листах, чудом у нас сохранившихся: «Игорь, звоните! Вы не должны быть отрезаны от мира!». Разумеется, о письмах не могло быть речи, поскольку мы жили в одном городе, тем не менее, я получила несколько писем – лично в руки от писателя – в самодельных конвертах (особенно забавна

нарисованная на конверте Фридрихом марка с портретом Набокова, прожившего в довоенном Берлине 15 лет).

У Горенштейна был нечитаемый почерк, а к концу жизни стал абсолютно неразборчивым. Все до единого публицистические статьи, опубликованные у нас, мы «расшифровали», записали на магнитофон, а затем занесли в компьютер тексты, прослушанные нами в наушниках, таким же способом записали полностью на магнитофон памфлет «Товарищу Маца...», и кроме того, опубликовали его литературным приложением, то есть отдельным изданием, истратив свои деньги, спонсоров у нас никогда не было и, разумеется доходов от выпусков журналов тоже. (Роман «Верёвочная книга» в настоящее время – незавершённая черновая рукопись. Отрывок из романа Горенштейн продиктовал нам на диктофон, кассета с записью, так же, как и вся фонотека с записями текстов Горенштейна, находится в нашем домашнем архиве).

Текст об Иване Грозном «На крестцах. Хроники времен Ивана Грозного» – 800 страниц! – предназначенный для издания в руководимом Ларисой Шенкер нью-йоркском издательстве «Слово-Word», мы записывали на магнитофон по выходным дням в течение двух лет!⁶ Лариса Шенкер опубликовала книгу в двух томах перед самой смертью писателя, о чем успела сообщить ему по телефону. Создание этой книги – подвиг не только потому, что чрезвычайно сложно было

перевести текст Горенштейна в читаемый текст, а еще и потому, что это был заведомо невыгодный в финансовом отношении проект, ибо как справедливо заметил Марк Алданов (по поводу книги Набокова «Другие берега»), «ценителей в эмиграции мало, а читателей немногим больше».

Когда умирает писатель, одинокий как перст, вдруг появляются неведомо откуда семья и друзья, которых не было при его жизни в течение многих лет – это уже закономерность. Много мелкой водоросли, образующей сизо-зеленоватую ряску, всплыло вокруг писателя из застоявшегося старого пруда, наверное, потому, что запутанная и даже детективная литературная история Горенштейна – давняя, застывшая в своей неподвижности, требовала уже выхода, а при очистке – вначале выходит грязь, а прозрачность и чистота – дело нелёгкое.

А что до меня, то я видела, как метался писатель по комнате, которая летом накалялась от солнца, метался, как раненый зверь и кричал: «Никто, никто в России не хочет меня знать, никто не хочет ни слова обо мне написать». Я это видела, слышала! И этот кошмар никогда не забуду...

«Некоторые вещи ещё не существуют, но уже отбрасывают тени», – говорила Агата Кристи. Однако, когда мы познакомились с Горенштейном, незаметно было и тени теней, долженствующей знать своё место. Берлинский журнал «Зеркало Загадок» и «Слово» в Нью-Йорке были в последние годы единственными органом печати, где он мог открыто выступать как публицист.

Вот публикации (тексты, переведённые нами в читаемый текст) Фридриха Горенштейна, опубликованные в берлинском культурно-политическом журнале «Зеркало Загадок»:

Фридрих Горенштейн. Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина. Зеркало Загадок, 1996, №2.

Фридрих Горенштейн. На вокзале (рассказ). Зеркало Загадок, 1996, №3.

Фридрих Горенштейн. Контрэволюционер (научно-фантастический рассказ). Зеркало Загадок, 1996, №4.

Фридрих Горенштейн. Товарищу Маца - литературоведу и чело- веку, а также его потомкам. Памфлет диссертация с личными этюдами и мемуарными размышлениями. Зеркало Загадок. Литературное приложение, 1997 (№5).

Фридрих Горенштейн. Михель, Где той брат Каин? Эссе о духах и тенях немецкой истории. Зеркало Загадок, 1997.

Фридрих Горенштейн. *На крестцах. Отрывок из нового романа-драмы. Зеркало Загадок, 1997, №6.*

Фридрих Горенштейн. *Реплика с места. Зеркало Загадок, 1998, №7.*

Фридрих Горенштейн. *Сто значит? Кладбищенские размышления. Зеркало Загадок, 1998, №7.*

Фридрих Горенштейн. *Ach wie gut, das niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß. Зеркало Загадок, 1999, №8.*

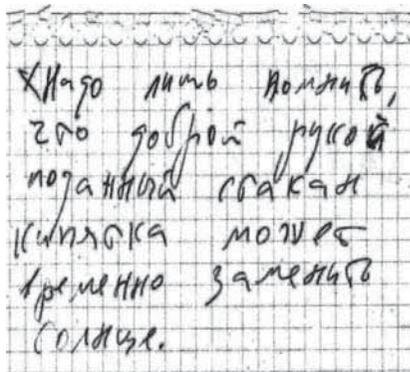
Фридрих Горенштейн. *Как я был шпионом ЦРУ. Венские эпистоли. Зеркало Загадок, 2000, №9.*

Фридрих Горенштейн. *Беседы с Ефимом Эткиндом. Зеркало Загадок, 2000, №9*

Фридрих Горенштейн. *Как я был шпионом ЦРУ (окончание) Венские эпистоли. Зеркало Загадок, 2002, № 10.*

В последние годы мы с трудом финансировали «ЗЗ», подстёгивал Горенштейн, который любил журнал, всегда просил, чтобы принесли ещё экземпляры. Он принимал их с нескрываемой радостью, как маленький ребёнок игрушки. Было трогательно видеть, как этот большой человек носится с маленькими яркими журналами. А после смерти писателя уже и стимула не было к изданию «ЗЗ», и он как-то естественно и сразу, как бенгальские огни, погас. В общей сложности мы продержались с журналом 8 лет – с 1995 по 2003 годы. Недавно я обнаружила (спустя 15 лет) весточку от Горенштейна, подтверждающую, что он был благодарен нашей семье за бескорыстную дружбу. Итак, мне нужно было просмотреть рукопись повести «Куча», которую Горенштейн подарил мне ко дню рождения в 1998 г. Я раскрыла папку с рукописью, которую с тех давних пор не открывала, и обнаружила сверху на ней клочок бумаги, который я почему-то тогда не заметила. На этом клочке (то был единственный клочок бумаги, остальные листы – нормального формата) рукой Горенштейна было написано:

«Надо лишь помнить, что



доброй рукой поданный стакан кипятка может временно заменить солнце».

Я ошеломленно держала этот клочок в руках, в полном недоумении. Как я могла его раньше не заметить? То было для меня от Фридриха Наумовича запоздалое, теперь уже с того света, «Спасибо!»

¹ Главы из романа «Псалом» впервые на русском языке были опубликованы в 1985 году в Тель-Авиве в журнале «Двадцать два», в 1986 году несколько глав были напечатаны в Мюнхене в журнале «Страна и мир». Полностью роман вышел в журнале «Октябрь» в 1991 году, и, наконец, в 1993 году в Москве в издательстве Слово/Slovo – отдельной книгой, а затем в 2001 г. изд. Эксмо-пресс и в 2012 г. изд. Азбука-Аттикус.

² Горенштейн Ф. Дом с башенкой // Юность, 1964, № 6. С. 47- 58.

³ «Я - писатель незаконный». Записки и размышления о судьбе и творчестве Фридриха Горенштейна. Нью-Йорк, Слово-Word, 2004.

Берлинские записки о Фридрихе Горенштейне. Санкт-Петербург, Деметра, 2011

Плацкарты и контрамарки. Записки о Фридрихе Горенштейне. Санкт-Петербург, Янус, 2006.

⁴ Солженицын А. И. Один день Ивана Денисовича. Новый мир, 1962, № 11. С. 8-74.

⁵ Горенштейн Ф. Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина. // Зеркало Загадок. 1996. № 3. С. 14-21.

⁶ Горенштейн Ф. На крестцах. Хроника времён Ивана IV Грозного в шестнадцати действиях, ста сорока пяти сценах. New York: Слово/Word, 2001. Подробно о том, как создавалась книга можно прочитать в моём эссе «Цена отщепенства. По страницам романа Фридриха Горенштейна «Место». Как издавалась книга «На крестцах. Хроники времен Ивана Грозного //Слово/Word». 2012. № 73. С 145 – 152.



Художник Иосиф Чайков

Леонид Бердичевский

ЧАЙКОВ

заметки о художнике

Начну с отступления.

Внимательно прочитал книгу известного французского историка культуры и искусствоведа

Андре Накова (Andrei Nakov «L'avant-garte russe». Paris, Fernand Hazan, 1984). Автор является едва ли не самым крупным в Европе специалистом по толкованию русского авангарда 1910-1930 годов.

К своему горькому разочарованию и изумлению обнаружил, что он в своём труде не затронул ни еди-

ного художника еврейского происхождения (разве что небольшое упоминание об Эль Лисицком!).

Русский авангард – это огромный пласт в развитии и влиянии на мировое искусство XX века.

Прошло более века, но споры вокруг русского авангарда не утихают. Музеи и коллекционеры сражаются за приобретение работ Мастеров на аукционах. Это касается и работ мастеров еврейского происхождения, таких, как И-Б. Рыбак, Н. Альтман, М. Эпштейн, А. Маневич, Н. Шифрин, А. Тышлер, С. Шор, и многих других, которые вошли в золотой фонд мирового и, в первую очередь, русского авангарда. Вот, что меня удивило и расстроило в упомянутой книге.

К перечисленным художникам по праву принадлежит график, скульптор и теоретик искусства И. Чайков. Во второй половине жизни он полностью отошёл от творческих находок и приёмов раннего периода, однако, это не даёт никому права исключить его из числа мастеров русского авангарда XX века. Чайков – достаточно крупная фигура этого выдающегося течения. Его молодое творческое дыхание оставило заметный след в истории



שׁוֹמֵר אֵשׁ

искусства, несмотря на то, что он стал заслуженным деятелем искусств РСФСР, профессором и проповедником так называемого искусства социалистического реализма. Мало ли как складывалась жизнь и каковы причины такой метаморфозы. Неизвестно, что канет в небытие, и что останется на Олимпе искусства. Не нам судить. Главный судия – время.

Итак, – Чайков... Несколько слов о его биографии, без которых невозможно представить себе личность, формирование и всю творческую судьбу Мастера.

Иосиф (Йосеф) Моисеевич Чайков родился 13 декабря 1888 года в Киеве, в еврейской семье. Его воспитанием, по неизвестным причинам, занимался только дед, который был каллиграфом-переписчиком религиозных текстов (сойфером). Он-то и приобщил мальчика к религии и владению пером. Сперва Чайков поступил в об-





учение к гравёру. Там получил первые навыки репродукционной гравюры, техники владения резцами, композиции и рисунка, там же проявился его интерес к восприятию объёмов и планов в изображении. Это и был первый толчок к овладению мастерством скульптура и рисовальщика.

В 1910 году Чайков уже достаточно определился в своих творческих пристрастиях и поисках. Он едет в Париж, где поступает в студию Бориса Аронсона, изучает технику скульптуры, затем, в высшую школу изящных искусств, постигая основы декоративно-прикладного мастерства, посещает множество выставок разных направлений, экспоненты которых позднее стали называться «Парижская школа». Пребывание в Париже продлилось до конца 1913 года.

В 1914 году, возвратившись в Киев, он активно включается





И. Чайков. Автопортрет



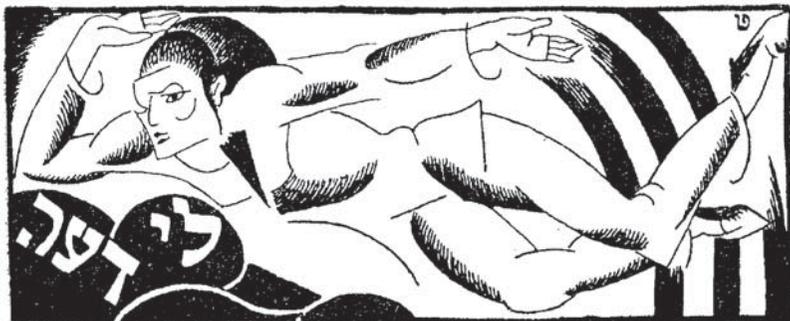
в работу Еврейской Культурной Лиги. Лига объединила многих молодых мастеров культуры и, собственно, явилась центром авангарда, занятого поиском новых средств и выражений в разных видах изобразительного искусства и литературы. Она ориентировалась, в первую очередь, на национальные традиции и интересы еврейства. Сюда входили и иллюстрации к произведениям классических и современных книг, театральные постановки, монументальная и станковая живопись. Во всё это внёс весомый вклад Чайков. В частности, им оформлены и проиллюстрированы книга Мойхер-Сфорима «Телёнок», серия «Песнь песней», обложка и заставки к журналу «Рассвет», множество издательских марок и прочей мелкой графики. Причём, в разных графических техниках, от литографии до обрезной и круглой ксилографии. Последняя очень сложна, ибо художник подчинён направлению волокон доски и обязан придерживаться этого при создании композиции. Все заставки, поэтому, строго горизонтальны (их очень много, учитывая варианты). Иллюстрации к «Избранному» Мойхер-Сфорима – литографии (обложка, полосные листы, заставки и концовки) представляют подлинный шедевр книжного оформления.

В это же время художник выполняет работы по монументальной наглядной агитации. В 1920 году он – один из организаторов большой выставки еврейских художников, её идеолог. На ней показаны достижения в области пластических моделей Древнего Востока в синтезе с ориентализмом XX века и арт-нуво. Тогда же – страстное увлечение кубизмом.

Результатом является целый ряд конструктивно-кубистических фигур, рельефов и целых композиций. К счастью, многие сохранились по сию пору. Это – и барельеф «Скрипач», и «Электрификатор», и «Идущий еврей», и проект арки «Тракторный завод» и множество других. Все они – подвижные фигуры и комбинации с необычным планированием центра тяжести.

В 1921 году Чайков опубликовал брошюру на идише «Скульптор», изложив в ней программное заявление, в котором полностью отказался от прошлых своих находок фольклорного, этнографического и примитивистского содержания. Что побудило его к этому? Неизвестно. Переехав в 1921 году в Мо-





скву он стал преподавать во ВХУТЕМАСе.

В 1922-1923 годах он работает в Берлине, участвует в выставках советских художников группы «Ноябрь» и в Берлинской международной выставке.

Возвратившись в Москву, стал членом Общества русских скульпторов (ОРС), войдя в его руководство, а также в группе «Четыре искусства».

Принял участие в оформлении Советского павильона





на международной выставке в Париже (11 барельефов-пропилей на тему «Народы СССР»).

После перехода на принципы социалистического реализма выполнял погрудные и поясные портреты, многие из них находятся в музеях бывшего Советского Союза.



Умер И.М.Чайков в 1979 году в Москве. Похоронен на Донском кладбище. На могиле надгробие, выполненное по его же проекту.

Хотелось бы добавить, что вклад его в развитие искусства начала XX века неоспорим, особенно, в период глубокого интереса к проблемам еврейского возрождения и создания нового еврейского искусства. Он считал, что оно должно наследовать пластические формы Древнего Востока, соединённые с современностью, в создании экспрессивных форм, соответствующих внеациональному «новому миру» и уникальной ситуации евреев в нём.

В оформлении обложки и иллюстративного материала этого номера Альманаха использованы работы И.М. Чайкова.

Светлана Сокольская

ПО КОМ ГОРИТ СВЕЧА.

Я зажигаю две свечи: одну в память о маме, другую в память о Лизе, маминой сестре, пропавшей без вести во время Великой Отечественной войны...

Их было три сестры, от двадцати двух до двадцати девяти лет отроду. По разным причинам они не успели эвакуироваться со всей семьей из Молдавии, одной из первых принявшей на себя удары врага. Бабушка с дедушкой и три старшие сестры с детьми уехали раньше. Дедушку схоронили в пути.

Вся бабушкина родня осталась в дубоссарском «Бабьем Яру», где с двенадцатого по двадцать восьмое сентября 1941 года были расстреляны более 18 тысяч евреев Кишинева, Тирасполя, Дубоссар, Бендер, Григориополя, Рыбницы, Оргеева, Балты и других городов.

Мою маму после окончания литературного отделения еврейского сектора Одесского пединститута направили преподавать русский язык не еврейским, а украинским детям. Перед войной она работала в селе Плоское в Украине. Тирасполь был тогда всё ещё столицей МАССР. Я держу в руках пропуск: «Разрешается гр. Финкельштейн Евгении Исаковне, работающей в плосковской средней школе учительницей, въезд и временное проживание в г.Тирасполь МАССР сроком с 21 июня по 21 июля 1941 г. Цель поездки – в отпуск».

Единственному в семье брату, дяде Абраму, война помогла выйти из тюрьмы, где он оказался за рассказанный в компании анекдот про Сталина. Его отправили на фронт военным переводчиком, и сохранилась фотография, где он в гимнастёрке и пилотке снят у кирпичной стены одного из берлинских домов.

Три родные сестры Маня, Лиза и Женья. Две первые ладные, хоро-

шего роста девушки, и только Женя, старшая из них, совсем маленькая, но кругленькая и крепенькая, как колобок. Эта её крепость служила мне бронёй, когда она, спасаясь от бомбёжек, прыгала с подножки вагона, ни сном, ни духом не ведая о своей беременности.

Мой отец, высокий блондин в белой рубашке, каким я вижу его рядом с мамой на общешкольной фотографии от 29 мая 1941 года, был учителем химии в той же школе. Была весна, время любви и, может быть, их жизнь сложилась бы по-другому, но наступило лето, и началась война.

На Северном Кавказе, в селе Лад-Балка Орджоникидзевского края, что в Ставрополье, беженцев встречали высокими хлебами и распределили по домам. Двух сестёр послали на работу в колхоз, а маму оставили в школе учительницей. В крещенские морозы января 1942 года Маня не могла открыть замок на двери сарая, чтобы набрать дров и натопить избу, где находилась роженица с ребенком. Пальцы её прилипали к железу, и она плакала от боли, но дров набрала.

Всю жизнь я испытывала огромную, безотчетно-инстинктивную привязанность к Мане. Ей, единственной из маминых сестёр, я говорила «ты» и любила её лицо, голос, походку, её доброту и мягкость.

У хозяйки была маленькая дочка, и мама, глядя на их бесконечное воркование, мечтала о девочке. Эта крестьянка и приняла у мамы роды. Её муж был бригадиром в колхозе. Спали они в избе, а мама со мной – на широкой русской печи. Когда я ночью плакала, мама, опасаясь, что мой плач разбудит их, пыталась приглушить его подушкой. Тогда хозяин кричал маме, чтобы она этого не делала, и что он не хочет отвечать за неё.

Через восемь дней после моего рождения маме сказали, что она лишится пайка, если не выйдет на работу. Мама принесла и положила меня прямо на стол в учительской. Увидев такое, директор школы разрешил оставлять меня на время уроков у него дома.

А немецкая армия продвигалась к Северному Кавказу, и мама рассказывала мне потом, как она ночами думала: сумеет ли она покончить с собой и со мной, если на пороге появится немец. Однако, сестры хотели подзаработать побольше трудодней, чтобы иметь немного денег. И так дотянули до июля 1942 года.

Однажды в селе появился возница с подводой. Председатель колхоза велел всем оставшимся евреям уезжать немедленно и предупредил, что больше лошадей не даст, потому что страда, и так транспорта не хватает. Маня и мама со мной были на месте, а Лиза куда-то пропала. Маня обошла всё вокруг, побежала и в соседнее село, надеясь там

отыскать Лизу, но та как сквозь землю провалилась. Стали упрашивать возницу подождать, но он и слышать ничего не хотел, и только повторял слова председателя. И тогда Маня решилась. Впоследствии она мне говорила: «Я подумала, что Лиза одна, и она доберётся, а эта с ребёнком – пропадёт».

Подвода привезла нас в Сальск. Там как раз грузился пароход, готовый к отплытию. Надо было подняться вверх по трапу. Но моя мама смолоду испытывала панический страх перед открытыми водоёмами. В море или в реку она заходила только по колено, и тут же у неё начинала кружиться голова.

Много позже у меня, восьмилетней, часто повторялся один и тот же сон, и я не понимала, сон это или мираж. Я видела часть парохода и лестницу, ведущую высоко-высоко. Двое мужчин ведут под руки женщину, а её шатает из стороны в сторону, и она громко стонет. Этот её стон так мучителен для меня, но я не могу избавиться от него. Это видение преследовало меня долго, а я тем временем подрастала, и вдруг однажды мне стало отчётливо ясно: да это же моя мама при погрузке на пароход в Сальске. Я вижу её маленькую фигурку в темном платье, и то, как она мечется, поднимаясь по трапу, а я, полугодовалая, на руках у Мани, и эта картина врезается мне в память на всю жизнь. Всё встало на свои места, и сон перестал приходить.

На пароходе – много беженцев, палуба битком набита людьми с мешками, корзинами, узлами. Недалеко от нас примостилась молодая, прилично одетая женщина, жена офицера, как она себя представила. Ей и приглянулась голубоглазая и белокурая малышка, у которой щёки не умещались на лице. Женщина, оценив ситуацию, стала упрашивать маму отдать ей меня. За ребёнка она предлагала отрезки шёлка и другой материи. Сделка не состоялась.

Ещё и сейчас я содрогаюсь при мысли о том, что могла вырасти среди чужих мне людей и не знать родной матери. Нет уж, лучше моё полунищее и полуголодное детство, но с мамой, и в нашей большой доброй семье, которая была мне опорой всю жизнь.

Сойдя с трапа парохода, мы направились по железной дороге на Урал. Там уже была вся семья. В пути случалось всякое. Маня была бойкой и энергичной, обменивала вещи на продукты, бегала за кпятком, один раз чуть было не отстала от поезда. Но вот как-то ночью у нас украли всё, что было. В поисках выхода Маня на одной из станций обратилась к начальнику вокзала. Её направили в комнату, где две женщины выслушали рассказ о том, как она и сестра с маленьким ребёнком остались совсем без ничего. «Хорошо, – сказали женщи-

ны Мане. – Вы получите 300 рублей, но половину отдадите нам». Эта сделка состоялась, и так мы добрались до Урала. А судьба Лизы и по сей день неизвестна.

Мамина двоюродная сестра Нюся дружила с Лизой, и они переписывались с самого начала эвакуации. Потом связь прервалась. Нюся, обеспокоенная молчанием сестры, написала письмо в Лад-Балку с просьбой сообщить ей, что стало с Лизой. Ответа она не получила. Теперь уже доподлинно известно, что в конце июля 1942 года у реки Маныч шли тяжёлые бои, а в начале августа территория вокруг места, где я родилась, была окружена и захвачена до линии Краснодар – Ставрополь. Остальное можно себе только представить...

В детстве я любила слушать неспешные разговоры старших о прошлом, о войне, о мужьях. Никогда при мне не говорили о Лизе. Только когда бабушка на 98 году жизни ушла от нас, на её могильном памятнике я увидела мемориальную доску в память о погибшей Лизе. Постепенно мама и Маня, каждая отдельно, но почти слово в слово открыли мне эту трагическую страницу нашей жизни. С тех пор надо мной повис вопрос: был ли грех в нашем спасении, имели ли мы право бежать в таких обстоятельствах. Я поделилась своими переживаниями с манией дочерью. Мудрая и тактичная Полина, помолчав, промолвила: «Остались бы, все бы погибли». Часть тяжести она сняла с моей души.

Искала я ответ и в талмудических текстах, в которых уделяется большое внимание вопросам спасения жизни – Пиккуах нефеш. Обсуждается предполагаемый случай: двое в пустыне, а запаса воды достаточно лишь для выживания одного. Эта проблема не находила однозначного решения, поскольку часть законоучителей считала, что воду следует делить поровну. Но возобладало мнение рабби Акивы: «Следует спасать жизнь одного из двоих, а не делить воду».

В Торе говорится так: «Выбери жизнь». Потому что можно выбрать и смерть. Акива сделал выбор в пользу жизни.

Когда мы, эмигрировав в Германию, задумали посетить Израиль и впервые прилетели в Тель-Авив, посещение музея Яд Вашем было главным делом. Там я взяла анкету, чтобы поселить Лизу в этом храме скорби и памяти. Оформление длилось долго. Наконец, я получила уведомление о том, что память о Лизе (Лейке) Финкельштейн увековечена в списках музея под номером 6878118.

Двоюродный брат Леонид Штейлер был старше меня на 14 лет, он жил у бабушки с дедушкой в доме и хорошо помнил довоенное время. Его как-то раз я спросила: «Которая из всех шести сестёр была самой

красивой?». Я полагала, что такой была старшая сестра. «Нет, – сказал Лёня, – самой красивой была Лиза».

РЕЙЗЕЛЕ

«У моей мамы нет ни голоса, ни слуха», – так думала я, потому что училась в музыкальной школе по классу скрипки, и у нас были уроки сольфеджио. Тем не менее, часто сидя со мной вечерами за столом, мама пела мне свои любимые песни: «Выхожу один я на дорогу...», «Тонкая рябина», «...так значит, мы всегда вдвоём, моя любимая».

С детства мне на душу легли три пласта народной музыки. Русские песни звучали по радио и в школе; молдавские дойны лились отовсюду, и молдавские танцы были знамениты на всю страну; еврейские песни я узнала от мамы: «Kinderjorn», «Ojfn Pripetschik», «Vaj mir bist du shein» («Детские годы», «На приступочке», «Ты моя красивая»). Их пели на семейных праздниках и вечеринках, когда собирались все вместе. На столе была бутылка молдавского вина и бабушкин круглый, горячий, только что из духовки, кныш. Масло пенилось на его поджаристой корочке, и запах жареного лука в картошке был таким соблазнительным. За столом пели все, но особенно я любила, когда самая молодая из маминых сестёр, Маня, чистым голосом выводила: «Lo mir ale in ejnem... m'kabel ponim sajn» («Давайте все вместе... хвалу воздадим»), а Яша, её муж, уже слегка навеселе, запевал: «Розпрягайте, хлопци, коней...»

Иногда родные брали меня с собой на кладбище посетить могилы или отметить Jorzait (годовщину) кончины кого-либо из покойных родственников. Был и трагический повод пойти на кладбище, когда в притоке разлившегося Днестра, называемом тираспольчанами Лиманом, утонул Шурик, мой одиннадцатилетний братик. Запомнилось, как на кладбище находили старого еврея, и он пел удивительные, ни на что не похожие, и оттого особенно волнующие мелодии, и быстро бормотал молитвы, а все стояли вокруг в благоговейном молчании.

Но, конечно, мне по возрасту были понятней и стали любимыми песни «Warnechkes», «Kojft shen papirosen», «Itzik ot shen hasene gehat» («Варнички», «Купите папиросы», «Ицик женился»). Порой мама напевала ещё одну песенку «Рейзеле» («Rejzele») о нежной юношеской любви Рейзеле и Довидл с очаровательной мелодией и прелестным текстом. Я даже не все слова там понимала, но эти запомни-

ла хорошо: как спускаются по лесенке её тонкие ножки «...ire driwne fisalech». Заканчивалась песня словами: « Kum zu mir in holem, Rejzl, Kum, kum, kum» («Приди ко мне во сне, Рейзл...»).

В музыкальной школе мы воспитывались на классике и русской музыке, и были ориентированы на высокий стиль в искусстве. На нас смотрели неодобрительно, когда мы подбирали мелодии по слуху: следовало играть гаммы и этюды, а не увлекаться песенками из кинофильмов. Помню, однажды я сидела в классе у рояля и подбирала мой любимый вальс «В лесу прифронтовом». В дверь заглянула завуч школы, и я испугалась, что мне влетит, но она ничего не сказала. Так или иначе, но мы относились немного свысока к народной музыке. Вскоре в нашем музыкальном училище открыли тарафное (народное) отделение, и мы слегка посмеивались над ребятами, отобранными из сёл на обучение. Но позже оказалось, что эти мальчики с их цыганской постановкой левой руки и куценьким смычком в правой умеют выделять такие штуки, какие нам не под силу.

Когда мы оказались в Германии, и мне открылась возможность для концертной деятельности, я первым делом вспомнила свой классический репертуар: «Большое Адажио» из «Раймонды» Глазунова, «Юмореска» Дворжака и двойной концерт Баха были моими первыми шагами на новой земле. Постепенно я расширила свою программу за счет «Мелодии» Глюка, «Венгерских танцев» Брамса, «Вальса» из музыки к «Маскараду» Хачатуряна. Взять в работу, например, «Чардаш» Монти – ресторанщина, или «Полонез» Огинского – банальщина, мне, закончившей консерваторию концертом Брамса, и в голову не приходило. Хотя именно Огинский соответствовал моему тогдашнему эмигрантскому настроению: ведь он написал свой знаменитый «Полонез», отправляясь в эмиграцию из Польши, на последней станции, ожидая лошадей.

Однажды в синагоге я услышала в исполнении кантора старинный псалм «Al neharet Bawel». Это было необыкновенно красиво, и в то же время напоминало пение старика на кладбище. Я записала с голоса кантора эту потрясающую мелодию, и с этого псалма начался мой поворот к клезмерской музыке. Потом припомнила ноты «Kinderjorn», оказалось всё правильно, даже тональность, мама не подвела. Но не все песни были мне известны. Как-то после одного выступления ко мне подошла старая женщина, дотронулась до моего плеча и попросила сыграть «A iddishe Mame» («Еврейская мама»).

Этой песни я тогда не знала. Услышать её довелось через пять лет в Нью-Йорке на праздновании юбилея моей племянницы в русском ресторане. Своей роскошью он превосходил всякую фантазию. На сцене в блестящем шоу эту песню исполняли на английском языке сёстры Роуз. Но мне нужны были только ноты! К счастью, ноты оказались при них. Я начертила на обратной стороне программки несколько нотных рядов по пять линеек и переписала туда мелодию. Аранжировщика у меня никогда не было, поэтому я сама сделала скрипичную обработку и непременно исполняла «A iddishe Mame» в каждом концерте. В еврейской общине Ганновера, где нам, немногим музыкантам, обещали работу, я встретилась со Стеллой Переваловой, пианисткой из Гнесинки, тогда совсем молоденькой, удивительно похожей на принцессу Диану и невероятно талантливой. Мы стали выступать вместе. Успех сопутствовал нам со Стеллой, особенно тогда, когда мы играли еврейские мелодии, но я относилась к этому немного скептически: «Какие доброжелательные и нетребовательные наши люди – я играю немудрёные песенки, а они так радуются», и даже смущалась немного, если в зале были профессиональные музыканты. Но одно событие полностью перевернуло мои представления.

Мы со Стеллой готовились к концерту, и я пришла к ней домой репетировать. Прежде чем начать играть, Стелла сказала: «Хочу вам дать кое-что послушать», и стала прокручивать аудиокассету. Кассета крутилась, музыка звучала, и вдруг что-то привлекло моё внимание. Я сразу узнала «Рейзеле», услышала слова про лесенку, по которой бегают «...ire driwne fisalech» и про Довидл «Ich lib azoj dih, Rejzele... Lib dos gesl, lib di mame, lib dos alte hejzele» («Я так люблю тебя, Рейзеле... люблю эту улочку, люблю твою маму, люблю этот старенький домик»). Откуда-то изнутри поднялась во мне волна огромной силы, подхватила и отбросила назад, в прошлое. Оказавшись в том далёком времени, я увидела маму молодой и себя девчонкой. Потрясение было так велико, что я закрыла лицо руками и простонала: «Ой, мама!». Стелла вскочила со стула: «Света, что с вами?» А песня продолжала звучать, все восемь куплетов, я же не могла выговорить ни слова и только повторяла: «Ой, мама!» Лишь когда прозвучала последняя фраза «Kum zu mir in holem, Rejzl!», я, наконец, открыла лицо.

С тех пор я не удивляюсь, если после концерта слушатели подходят ко мне с повлажневшими глазами и мечтательными улыбками на лице. Ведь я услышала только одну песенку из моего детства, – и вот что со мной случилось, а они слушают у меня в программе до тридца-

ти мелодий из их детства. Целая стая птиц взмывает в душе – птицы нашей памяти.

Один старый еврей из Ганновера, бывший начальник аэропорта в Ташкенте, как-то сказал мне: «Когда я слышу «Ojfn Pripetschik» – всегда плачу». У моей кузины я спросила, знает ли она «Рейзеле»? «Да, – подтвердила Полина. – Дядя Абрам любил петь эту песенку». Я обрадовалась, значит, эта песня действительно жила в нашей семье.

К моему юбилею я получила драгоценный подарок: муж отыскал в интернете «Рейзеле» в прекрасном исполнении, переписал её на диск и даже перёвел текст на русский язык. Перевод получился хороший. Но для себя я продолжаю напевать на идиш: «Kum zu mir in holem, МАМА, kum,kum, kum».

Белла Якубова

ЧТО-ТО С ПАМЯТЬЮ...

*«Познать, это значит:
Вполне понять всю правду.
Умение ограничивать познание –
это тоже мудрость».
«Man bleibt nur gut,
wenn man vergisst».**

Фридрих Ницше

Я помню только то, что ничего не помню. Об этом догадывалась всегда, но теперь всё отчётливей вижу: из моей накапливаемой и теряемой жалкой памяти выветривается последнее. Хочу уяснить возможности памяти, пойду по её дорогам. Целью жизни считаю её познание, без которого она бессмысленна. Память – не хранилище, где всегда есть готовый запас сведений. Это – живое существо: система с входом, выходом, определёнными функциями. Для памяти важны как изначально природные (наследственные) способности, так и приобретаемые в течение жизни. Сначала это неосознанное «познание» окружающего. В детстве память очень активна, мозг ещё не перегружен, носит созерцательный характер. Полученные знания для сохранения в памяти требуют повторения. Иначе они могут исчезать.

Немецкий философ Артур Шопенгауэр приводит примеры, когда «большинство учёных забывают греческий язык, а вернувшиеся из Италии художники – итальянский». Он сравнивает умы детей с теми взрослыми, которые не имеют способности к самостоятельному мышлению. Те и другие «часто обладают очень хорошей памятью. Напротив, гений может не отличаться выдающейся памятью, как со-

общает о себе Руссо. Это можно объяснить тем, что множество новых мыслей и комбинаций не оставляют времени на частые повторения. Впрочем, гений с совсем плохой памятью встречается редко».

Шопенгауэр отмечает, что «люди, беспрестанно читающие романы, ухудшают этим свою память, ибо у них множество представлений, однако нет собственных мыслей и комбинаций». Теперь даже анекдоты не запоминаются, так как их стало немереное количество. Человек лучше всего запоминает то, что его интересует или связанное с профессией, хобби и т. п.

Известный карикатурист Борис Ефимов, обладая хорошей зрительной памятью, получал в школе по рисованию тройки, так как не было интереса рисовать с натуры горшки, яблоки. Он любил изображать персонажей книг: мушкетёров, Куликовскую битву и т. д. Сценарист и сатирик Аркадий Инин признался, что ничего не помнит из своих школьных лет: «Нет, я ещё не впал в маразм. Просто такая особенность памяти». Это, видимо, такая очередная злая шутка. Знаменитый психолог Зигмунд Фрейд, как подлинный коллекционер, собирал интересные факты психики человека. Самые ранние воспоминания взрослых о детстве он обозначил временем «от шести месяцев». Некоторые ничего не помнили до девяти лет. Он обратил внимание на то, «что собственные имена вообще способны скорее ускользать из памяти, нежели всякое другое её содержание». Приходят в голову другие имена, обстоятельства. «некоторое припоминание», не те буквы. Памяти, как и сердцу, не прикажешь. Порой очень трудно заставить её выполнять свои функции, особенно с возрастом. Сейчас я легче представляю себе облик известного артиста, чем его имя. Вдруг из памяти исчезает имя Михаила Жарова, даже Нонны Мордюковой. Имена не совсем забыты, требуется какое-то время для их оживления в памяти. Однажды прочла следующее высказывание писателя Игоря Губермана, умудрённого жизнью человека. «Ну, имена, фамилии, названия – конечно забываем. И притом – в момент произношения... Но к этому довольно быстро привыкаешь. Даже более того: встречаясь со сверстником, можно запросто прослыть заботливым и благородным человеком. Потому что имени его не помнишь, но, учитывая возраст, можно спросить: «вы болели?» А так как он болел наверняка, то счастлив будет рассказать, как именно недомогал и чем лечился. И в рассказе этом – неминуемо упомянет, как его зовут». Я поинтересовалась возрастом автора этих строк в энциклопедии. Оказалось – Губерман моложе меня на три года. Я не скрываю своего возраста, даже горжусь тем, что открытие забывчивости имён пришло ко мне лишь сейчас.

Способности памяти зависят не только от наследственных или

других независимых от конкретного человека причин. Интеллект (не путать с понятием «знание») проявляется не всегда с раннего детства. Так, наставник Эдисона говорил о нём, что «он глупый и ничего не может выучить».

«Эйнштейн не говорил до четырёх лет. Его учитель характеризовал его, «как умственно отсталого человека». Известен эпизод, когда при приёме на работу Эйнштейну задали вопрос типа: «Каков удельный вес железа?» Он сказал, что всегда пользуется справочниками. Отец Родена говорил: «У меня сын – идиот. Он трижды не поступил в школу искусств». Д. Менделеев имел тройку по химии. («Берлинская газета». 22.10.2012.) Немало примеров успешных людей с великопленной памятью. Артист С. Маковецкий говорит, что «обладая могучей памятью, никогда не делал дома уроки по гуманитарным предметам». Астролог Павел Глоба писал, что от природы обладал феноменальной памятью. Его рано увлекла астрономия, он любил порыться в архивах, умел быстро находить интересующую его информацию, поэтому эта работа его не утомляла, тянулся к наукам о взаимодействии явлений природы, к историческим событиям. Незаурядными способностями отличался Грегор Иоганн Мендель – основоположник учения о наследственности, положившем начало генетике. Он с детства был смыслёным, обладал цепкой памятью, трудолюбием. Владел греческим, древнееврейским, арамейским, халдейским языками, латынью.

Я завидую людям с нормальной памятью и рада полученному ими подарку природы. Мне же иногда приходилось пользоваться шпаргалками – бывало, не могла наизусть запомнить все нужные формулы, хотя вполне понимала суть законов физики и химии; с математикой было легче. Институт выбрала по перечню вступительных экзаменов. Это был модный теперь Московский финансовый институт.

Известны другие редкие проявления памяти, когда умственно отсталые люди способны повторить наизусть прочитанные страницы текста с первого раза. Этих людей называют савантами (от французского, *savoir* – знать). Некоторые из них владеют тридцатью языками. Но они совершенно лишены возможности думать, решать такие простейшие проблемы, как перейти улицу, размышлять о прочитанном, о жизненных проблемах. Если кто-то из савант достигал интеллекта, то терял свои прежние способности. В 1988 году о савантах был снят фильм «Люди дождя». В моей студенческой группе была студентка, которая могла прочесть пол-листа текста по предмету «Право» на семинарских занятиях, где требовалось решить заданные юридические задачи. Текст она повторяла, но разобраться в сути абсолютно лёгкого вопроса не могла.

Память можно тренировать, но многие люди при всём желании и упорстве не смогут полностью овладеть пятью или более языками. Этому может способствовать смена мест проживания в юном возрасте в различных языковых средах. Чтобы познать незнакомый язык, необходимо ещё овладеть фонетикой. Я читала, что В.И. Ленин и Н.К. Крупская одно время подрабатывали переводами с английского на русский трудов одного экономиста. Позже, будучи в Лондоне, были удивлены тем, что ничего не понимали по-английски. Их речь тоже никто не понимал, поскольку они никогда до того времени не слышали английского. А как же полиглоты учат различные языки?

Современный рост объёма информации несёт свои проблемы усвоения знаний. Технические средства позволяют получать готовые сведения, даже не зная таблицы умножения, но это не исключает необходимости критически осмысливать и обновлять запас нужной информации. В настоящее время меняется подход к обучению, как таковому. Больше внимания уделяется скорости усвоения материала, соответственно ускорению ответов на любые вопросы жизни. Устраиваются соревнования, на которых могут выиграть те, кто набрал больше очков за счёт простых вопросов в ущерб трудным. По мнению ведущего телепередачи «Что делать?» на канале «Россия» В. Третьякова, сегодня молодёжь не может запомнить содержания длинного текста. Говорят «рублеными» фразами. Приспособились ставить «галочки» на выбор предложенных готовых ответов. Электронная коммуникация не развивает интеллект и память. Вся надежда на память технических средств.

**только тогда хорошо, когда забывается (перевод автора)*

Наум Файзель

ГЕТТО

С благодарностью произношу имя деда, – ведь семья обязана ему тем, что не погибла голодной смертью в гетто. Дед участвовал в первой мировой войне, был в немецком плену, вспоминал о немцах. Их образ жизни, порядок, чистота, главное, – мастерство сапожников, – остались в его памяти навсегда. Он не хотел верить тому, что они могут обижать евреев. Бедняга – дед Шопс. Каково было его удивление, когда весенним утром проснулись мы под немецкой властью, и на стенах домов и столбах висели объявления коменданта о запрете жидам выходить за пределы гетто. За нарушение – расстрел. Даже за сбор более трёх человек или плохую уборку улиц тоже расстрел. Жидам (нас иначе и не называли!) – строгое подчинение новому порядку. В Бершади не было тотального уничтожения всех евреев, как в соседних районах. Регулярно проводились облавы на улицах и рынке. Мужчин помоложе уводили. С тех пор в гетто их никогда не видели. Румынские власти решали еврейский вопрос по-своему. Они не хотели тратить на них патроны

или строить газовые камеры. Достаточно было собрать десять тысяч человек в небольшое местечко, окружить их колючей проволокой и под страхом смерти запретить им выход из гетто. И скоро там начнётся голод, и люди сами начнут умирать на улицах, тем более, что наступала зима с морозами до 25 градусов. Без топлива, холод станет эффективным орудием, не менее, чем массовые расстрелы. Я не должен напрягать свою память, стоит лишь закрыть глаза, и я снова вижу горы человеческих тел лилового цвета. Мы подолгу укрывались поверх ватных одеял ещё и всяким тряпьем, но всё равно сильно замерзали. По утрам выносили покойников штабелями. Погребальная

команда не успевала увозить их, скрюченных морозом, и сваливала прямо на землю под наши окна. Мне тогда было десять лет. Я всякий раз замечал, что горы трупов увеличиваются. Я представлял себе, как тот или иной из нынешних покойников, если бы остался живым, там, у себя на родине, например, в Черновцах. учился бы в университете...

Увы, я с удивлением заметил, что мои внуки неохотно слушают мои воспоминания о жизни в гетто, хотя более поздний период им интересен. Связываю это с тем, что им, моим внукам, это, как-то не уютно, вникать в моё прошлое, в ту трагедию, в которой жили их предки. Их пугают или вызывает отторжение эти знания, которые разрушают нынешний уклад их жизни...

Как сейчас, помню себя, десятилетнего, стоящего вблизи грузовика, на кузове которого собирались казнить юношу. На площади Ленина, где должно было происходить это злодеяние, не было ни души, мне останавливаться там было опасно.

Пробегая к себе мимо дедушки Шопсы, я остановился и стал смотреть, как солдаты делают свою работу: закидывают конец верёвки за верхнюю крестовину телеграфного столба, и затем, по команде, тянут за длинный конец каната, пока бедняга не повис в воздухе, и сильный мартовский ветер не распахнул на нём телогрейку и стал швырять его из стороны в сторону, как будто ждал момента, чтобы начать свою страшную забаву. Я кинулся домой, стараясь вспомнить, где я видел курносое лицо повешенного...

Дядя Яня, Ян Вольвовский, стал членом нашей семьи во времена гетто. До войны он работал директором заготконторы, был знаменитым специалистом своего дела и его уважал весь Голованевск. От призыва в армию его, как специалиста, освободили. После прихода немцев, он с матерью и сестрой оказался в толпе евреев, которых полицаи гнали к пустырю, где была заранее вырыта яма. Местные жители, неевреи, стояли у обочины и с ужасом наблюдали за происходящим, а некоторые подгоняли евреев весёлыми выкриками.

Особенно много их услышал Вольвовский. Ведь многие его знали. В группе людей, обречённых на расстрел, он стоял с матерью и сестрой. Его мать прошептала: «Падай сынок в яму, может, Бог даст, выживешь»

И Бог, действительно, помог, но только ему одному. Остальные были расстреляны. Когда стало смеркаться, Вольвовский вылез из-под мертвецов, извинился перед родными и стал пробираться наверх. Его дорога длилась несколько недель, ведь ходил он только ночами. Оказавшись в Бершади, он резко отличался от местных жителей своей внешностью. Мужчина, заросший и весь в грязи, ватные штаны и

телогрейка изорваны. Прохожие шарахались от него. Чужая беда в то время никого не трогала. Голодное время, когда за пару картофелин отдавали дорогое кольцо, поэтому об угощении незнакомого человека не могло быть и речи. Вольвовского и в этот раз спас счастливый случай. Проходя мимо дома по Комсомольской улице, где мы жили, он постучался и вошёл. На пороге оказался дед Шопс. «Кто вы?» – спросил он.

Рассказ Яна был долгим и подробным. Из него мы узнали подробности гибели Голованевских евреев и о его случайном спасении. Ян Вольвовский прижился в доме деда Шопсы. Он быстро освоил основы сапожного ремесла, стал подручным деда. Всё было бы хорошо, если бы не одна странность, которую мы сразу не поняли. По вечерам он зажигал огарок свечи и уходил с ним к себе. В конце коридора в полу находилась потайная дверь. Каждый вечер он спускался по лестнице в подвал и укладывался там спать. Все три с половиной года, что он прожил с нами в гетто, он ни разу не спал наверху. Тётя Переле, которой он приглянулся, уговаривала его не спать в подвале, ибо он может заболеть, но он отказывался. Слишком глубоко сидел в нём страх расстрела. Никому он не позволял спускаться в его лежбище. Но однажды мы всё-таки там побывали, когда узнали, что в Бершадь скоро придёт зондеркоманда. Мы решили спастись в подвале. Я чётко запомнил этот день. Подвал был забит до отказа. От недостатка кислорода керосиновая лампа погасла, и мы оказались в полной темноте. Неизвестно, сколько времени мы там провели. Самые смелые помогли нам выйти наружу. Мы наслаждались воздухом и солнечным светом, несмотря на висевшую опасность попасть в лапы зондеркоманды...

Ян Вольвовский, человек небольшого роста, неопределённого возраста, обстоятельный, с лицом типичного еврея: орлиный нос, выпуклые глаза. Сразу же после войны, тётя Переле всё-таки сумела убедить его жениться на ней. От их брака родились три дочери, но, увы, долгожданного сына так они и не дождались. После войны Ян прожил недолго, скоротечная чахотка догнала его. Ушёл человек редкой судьбы и житейской мудрости.

Куда более трагичной оказалась судьба молодых ребят, которые к моменту освобождения достигли 18-летнего возраста. Их, плохо обученных, отправили на фронт насильно, в укреплённый город Яссы, где они и сложили свои головы.

В Бершади сейчас безвозвратно оборвана еврейская жизнь, которая некогда была описана классиками еврейской литературы Менделеле Мойхер-Сфоримом и Шолом-Алейхемом. Теперь там проживают

пятнадцать стариков. Из многих стран приезжают люди, чтобы поклониться могилам своих предков.

[224]

Однажды, приехав в Бершадь с той же миссией, автор этих строк решил побродить по кривым и ухабистым улочкам своего детства. Он остановился возле синагоги. Запустение встретило его прямо у входа. Несколько стариков на скамье у амвона читали молитву. Самозванный раввин, бывший подполковник, собирался навсегда уехать к дочери. Тогда синагогу запрут на замок. Этим будет поставлена последняя точка в истории некогда многочисленного еврейского населения Бершади.

Сергей Пышный

ЗАБЫЛИ...

Прошлым летом я был на отдыхе у дальних родственников в Белоруссии, в небольшом старинном городке Кобрин, что недалеко от границы с Польшей. Городок мне очень понравился: озеро, две реки, прекрасно отремонтированные дома и храмы. Как грибы в лесу, повсюду вырастают новые и новые виллы. Народ приятный, люди спокойные, доброжелательные, бесхитростные, трудолюбивые. Национализма никакого. Белорусы с гордостью о себе говорят: мы не националисты, как на Украине. И это, похоже, так и есть.

Круг общения моих родственников: врачи, чиновники, мелкие предприниматели. Давно вошло в традицию отмечать вместе дни рождения, праздники или просто встречаться в банях, попариться и поболтать, причём, на этих встречах столы ломились от напитков и разных закусок. Правда, темы разговоров не совсем входили в круг моих интересов. То обсуждали проблему выращивания томатов, то речь шла об огурцах: как их лучше закатывать, и так далее. Запомнился и иной разговор. Мы были в гостях у нашей подруги, хозяйки обувного магазина, и она рассказала, что в соседнем городе есть батюшка с удивительной духовной силой, с помощью которой он излечивает любую болезнь. Говорили о чудотворных иконах, рассказывали друг другу о болезнях, давая советы, как от них избавиться. Всё это не совсем меня интересовало, но приходилось приспосабливаться, если хотел кого-то вызвать на откровенный разговор.

Люди в Кобрине придерживаются местных обычаев и отторгают всё необычное. Я приехал в соломенной шляпе, но мой родственник порвал её, сказав, что тут так не ходят. Потом я видел, как зрители

во время концерта на открытом воздухе в городском парке укрывали головы от солнца туалетной бумагой. Это считается нормальным, а вот соломенной шляпой защищаться от солнца неприлично! Пойди пойми, почему. Пришлось и постричься коротко, как все. Но право носить маленький рюкзачок я отстоял, хоть я такой был один на весь город. Всё это меня не сердило. Если, думал я, все одинаковые, то и понимать им друг друга легче. И хоть все жалуются, что денег мало, жизнь расцветает: собственных домов всё больше, церкви в отличном состоянии, и строятся новые. Есть католический собор, несколько домов баптистов и даже дом свидетелей Иеговы. Все они мирно сосуществуют. Имеется превосходный дом культуры. В городе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию: устроен музей Отечественной войны и музей Суворова, где можно познакомиться с историей города того времени.

Летом я застал в городе два праздника: День независимости и День города. Прекрасно были организованы церемонии возложения цветов к обелиску воинам-освободителям. Казалось, нет конца национальным нарядам. Всё красочно и торжественно. А вечером – гулянье в городском парке, где участники самодеятельности в национальных нарядах исполняли народные песни и танцы.

Но однажды произошло нечто, чего я никак не ожидал в этой идиллии.

Как-то мы ехали из очередных гостей домой мимо большого собора. «Вот католический собор», – объяснили мне. Проехав ещё немного, я вдруг увидел огромное полуразвалившееся сооружение и удивлённо спросил: «Что это такое?». «Синагога», – спокойно ответили родственники. Я был потрясён. В городе, где все здания в идеальном состоянии, такое огромное строение брошено на произвол судьбы и разваливается. На следующий день я пришёл к синагоге и осмотрел её. Никто в этот двор давно не заходил, разве что по нужде. Окна забиты фанерой и на одном кто-то нарисовал семисвечник. Я подумал: раз такая большая синагога, то раньше здесь, очевидно, было много евреев. Обошёл ближайšie дома, но ни на одном из них еврейских символов не увидел. Странно, подумал я, и решил узнать что-нибудь о евреях, которые когда-то здесь жили. Вернувшись домой, залез в интернет и узнал, что в начале 20 века в этом городе евреи составляли 66 процентов населения, было несколько синагог, и та, развалины которой я видел, была второй по величине в Белоруссии.

Я представил себе, как отличалась тогдашняя жизнь от сегодняшней. По улицам ходили люди в чёрных костюмах и шляпах, говорили

между собой на идише. Везде было полно еврейских магазинчиков, лавочек, мастерских и контор. Мне захотелось, повернув время назад, попасть в этот город. Уверен, что нашел бы среди этих людей много приятелей. Мне было бы интересно зайти в их лавки и магазинчики, чтобы пообщаться. Их предки жили в Польше, в Германии и в других странах, и это не могло не отразиться на их кругозоре и мышлении. Но, увы, теперь трудно представить, что тут вообще жили евреи. От всех синагог осталась только одна развалина. Не сохранилось даже еврейского кладбища. На нем теперь разбиты огороды. Надгробные камни исчезли. Я спросил своих знакомых, что они об этом думают. Почему бы не восстановить синагогу и сделать там хотя бы музей когда-то жившего тут еврейства? Ведь это тоже история города. Но все, как один, отвечали: «Да кому это интересно?». И тут я по-другому посмотрел на этот город. Я вспомнил музей Суворова, Военный музей, торжественное возложение венков к мемориалам, встречи в бане, обильные застолья и прочее. Мне весь этот уклад жизни вдруг показался театром абсурда, будто довольные и весёлые люди пляшут на трупах.

По возвращении в Берлин я рассказал одной приятельнице об этих тягостных впечатлениях и о том, что мне хотелось бы попасть в тот город, которого больше нет. Но она ответила, что те евреи не стали бы со мной общаться. Я возразил, что ни разу в жизни не замечал, чтобы евреи не хотели со мной общаться из-за того, что я не еврей. Но приятельница на это сказала: «Ты привык общаться с советскими евреями, а тогда в этом городе все евреи были верующими и чтили Талмуд, по которому ты – гой, и с тобой нежелательно общаться». Мне стало грустно, но неожиданно я почувствовал в душе уверенность, что, окажись я в том городе, то нашел бы всё же себе много отличных приятелей и мне не было бы одиноко и скучно там жить. Вспомнилось моё многонедельное путешествие по Израилю, где я познакомился и общался с очень многими людьми, верующими и неверующими, и ничего плохого сказать не могу: отношение ко мне везде было доброжелательное. Я вспомнил также, что у меня в Ленинграде, ещё при советской власти и до моей эмиграции был хороший товарищ – старый слепой еврей Яков Исаевич, глубоко верующий иудей. Я уж не говорю о многих других друзьях, с кем пережил немало и в чьей верной дружбе много раз убеждался. Тогда в Ленинграде, случалось, приглашали меня и на Шабат. Горели свечи, люди были спокойные, любезные, хотя не все очень-то верующие. У них это был больше протест против системы, отрицающей еврейство. И я подумал: «А окажись я в субботу в Кобрине в начале 20 века – вот был

бы настоящий Шабат! Это был бы Шабат, наполненный религиозной, философской тишиной, доброжелательностью, покоем, отрешённостью от всякой суеты. Уверен, что в тогдашнем Кобрине, где больше половины населения любили рассуждать и философствовать, я был бы своим человеком. Жаль, что того города сегодня нет!»



Новые переводы

[229]

Д и П 18 / 2014

Валерий Матэ́тский

С английского

Ингер Шивóна М. Турвюнд

ВЫДУМАННАЯ СВАДЬБА

Я вытянула мою шею так,
как если бы,
это был банкет,
где пируют тигры.

Один тигр зевает,
как Вы,
и ведёт себя,
как Вы.

Я беру его...
за хвост.
Боже,
я, я
скучаю
по Вас!

А потом
эта боль,
исходящая от двери,

открываемой вами,
зачарованно смотрящего
на светлячков,
скрывающихся в моих
волосах.

Вы достаёте пистолет
из мрака,
той самой реки,
которая плещется
в Вашей голове.

Вы кричите
на меня,
Вы – тот,
кто отозвался
на мой призыв –

Вы стреляете
небрежно
мелкими цветами,
одевающими реку
в ночные рубашки,

и я
ухожу в отставку,
беря вас
вас, вас,
вас...
Как эта
любовь...
невозможна!

Но жжёт,
жжёт,
всегда,
как
банкет ромашек,
что падают,
слезами
в нашу

выдуманную
свадьбу.

[232]

Д и П 18 / 2014

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛНЦ

(фрагмент)

Приключения солнц...

Солнца
сначала,
падают в дороги,
ублажая небо,
а потом... вдруг,
изменяют облака.
Солнца уходят,

но оставляют теплую дорогу
для прогулки с парой башмаков,
выкроенных из реки,
шнурки у которых,

прихотливыми ручейками,
распущены внутрь солнца,
в то время, как чайки
сталкиваются с моими пальцами,
сильно и холодно,
воплощёнными рыбами,
с ногами, связанными,
как сажены наши мысли,

мыслей,
которые издревле встречаются
в каменных пещерах,
куда они мчатся живыми стаями
раздробленных чувств,
вопящих от страха.

Сегодняшние дороги,
улыбаются нам меньше,
чем те, в которых мы родились,

и видимо, поэтому
более бездушно
плавятся о фундаменты домов.

Дороги есть везде,
где наши мысли,
сплетаются со вздохами.
Они сгорают так же,
как пещерные люди,
с которыми мы,
никогда не встречались.
И Вы говорите:
Мы сами обрекаем себя,
на поиски того,
к чему
Нельзя прикосаться.

Там не камень...
Это стиль глиняных пещер.

Не осталось
Ни золотых инструментов для гравировки,
Ни приключений солнц,
Ни объятий, заброшенных орлиных гнёзд –

только небольшой,
жёсткий край
орлиной вершины,
где прячутся корни
далёкого прошлого.

И так невероятно,
Если мы,
Совсем ещё не старые, скажем:
мы видим!

Город чаек предупреждает нас.
Чайки летают над людьми,
рождёнными не в лесах,
над людьми –
никогда не взрослевшими

среди берёз,
которыми они могли бы стать,
над людьми,
выросшими на дорогах,
отягощённых длинными
и тяжёлыми мыслями.

ПРОКЛЯТЫЕ ГОРЫ

Задумчивая, в вязанном шерстяном платье,
(о, не показывайте мне, новую осень на крышах)
я вижу воду, пытающуюся одеть дождём день,
в то время как я
беспокойно пробую найти те вещи,
которые я хотела бы в этот раз
использовать более уверенно,
так как, знаю, что они,
созданные древним способом дуновения,
формируются в моем теле,
так, что должны заставить меня задохнуться,
и сделать мое тело меньше снежинок,
которые я помню с тех пор,
когда я была маленькой...

О не показывайте мне,
как мои руки превращаются в прялку,
потому что, так я их сразу теряю.

Когда мы поднимаем свою голову,
чтобы окинуть взглядом далёкий горизонт,
(то, что мы делаем всегда, во время странствий, –
я, даже не подозревала, что есть такие, голые дороги)
о прекрасная зелень дорог,
я иду, то быстро, то медленно,
и храню это в своей голове,
и хочу стоять на берегу моря,
отдыхая от горного восхождения,
(никогда не хотела оказаться в горах)
откуда они взялись? эти танцы гор,
что так жестоко
разорвали мою тишину

на части.
(Пустота никогда не была словом,
которое становится непокорной вещью),
теперь, именно эти проклятые горы
и я, не желающая говорить,
и все люди,
все те, кто слабеет без моря,
и я, которая без моря – меньше чем снег,
мы гуляем в кругах,
отдыхающих на поверхности воды.
О, я не хочу быть
дворцом!
Я не хочу быть
тесной комнатой!
Я не хочу быть
замком, или замочной скважиной,
или человеком!
Я хочу быть
растением,
которое растёт в тишине,
и взрывается и плачет в цвету,
надсмехаясь над крышами...

О, не показывайте мне эту новую осень,
но несите меня в зиму,
где я могу с удовольствием прясть шерсть
и пряжа делает меня новой
в приближающейся ко мне старости,
одевающей дни в снега,
а не в дождь,
и заставит меня меняться,
и снова превращаться в снег,
и стать маленькой, и стать другой,
и стать прежней,
снова и снова,
в каждом новом пути.

О не показывайте мне то, что я забыла,
но постройте новое так,
чтобы идущая ко мне старость
не была так жестока!

Феликс Фельдман

Эдуард Фридрих Мёрике
(1804 – 1875)

ВЛЮБЛЁННОЙ

Когда, небесным взором упоён,
Твоё я ощущаю обаянье,
Я словно слышу ангела дыханье,
Что в девичьем обличье затаён.

И теплится улыбка на губах,
Как будто нет в мечтах моих обмана,
И ты ль – она, любима и желанна,
О ком я грезил в самых смелых снах?

И страстно рвутся чувства на простор,
Я слышу, словно из безбрежной шири,
Мой рок поёт устами юной девы.

Смущён, я обращаю к небу взор,
Где звезды улыбаются в эфире,
И, преклонен, приемлю их напевы.

ЗИМНИМ УТРОМ,
ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА

О, миг ажурной предрассветной рани!
Миры какие будишь ты во мне?
И почему с тобой наедине
пылают чувств неведомые грани?

Душа моя нетронута чиста,
она – кристалл незамутненный, ясный,
в ней благодать покоя разлита
и дух, пленённый магией всевластной,
неизреченного глагола ждёт
и словом дивным в сердце прорастет.

Глазам открытым я не доверяю;
сомкну их, чтобы сохранилось диво.
Не феи эта ль сказочная нива?
Кто череду страстей и пёстрых мыслей стаю
привнес толпой в душевные чертоги,
что плещутся в груди и без тревоги
шумят, резвятся, рыбкам подражая?

Услышу трель пастушеской свирели,
вкруг колыбели в ночь на Рождество,
их будут петь юнцы, как раньше пели,
кто сутолочь печалей в самом деле
в мое вдохнул земное естество?

И что за чувство дивной власти,
в то время как нацелен в даль мой дух!
Насыщен днём, к ядру его не глух,
к святому делу полон пылкой страсти.
Душа стремится в голубой простор,
ликует ангел мой, но всё же,
зачем печально влажным стал мой взор?
Исчез успеха греющийся костёр?
Иль то, что в сердце я ношу, едва ли всхоже?
Мой разум – прочь: конца здесь вовсе нет!
Мгновенье. Прочее суть суета сует!

Глянь вдаль! Восхода ткач убрал вуали прочь!
 В раздумье день, сейчас исчезнет ночь,
 и губы дня, прикрытые сперва,
 со сладких вздохов начинают бденье.
 Сверкнет светила глаз, и в ранге божества
 день начинает царское паренье!

У РЕЙНСКОГО ВОДОПАДА

Сердце, о, путник, уйми рукою могучей и властной!
 Так, от восторга дрожа, рвется моё из груди.
 Полчища вод без конца бросает одни на другие,
 В столпотворении где, чувства, найдете приют?
 В гневе не слышит гигантище собственный яростный вопль,
 С неба низвергнут, лежит, скалами сдавлен, ревёт!
 Кони лихие в прыжке, прыгая друг чрез друга,
 Падают навзничь и грив веют вокруг серебро.
 Торсы роскошных коней пышногрудых без меры другие,
 Вечно все те же они – кто же дождётся конца?
 Страх заполняет всю грудь, как если бы впрямь показалось,
 С грехотом пал небосвод, череп расплющив тебе!

Герман Гессе

(1877 - 1962)

НОКТЮРН

Шопен. Ноктюрн. Es-dur и светом
 Заполнен весь оконный свод.
 И Глорией волшебных нот
 Лицо твоё теплом согрето.

Да, никогда во мне чудесней
 Под лунным серебром, в тиши,
 Затронув трепетность души,
 Так не звучала Песнь Песней.

Молчала ты. Немые дали
 Вплетались в свет, где лунный блеск,
 И мы, и лебединый плеск
 Под звездами в ночной вуали.

Ты подошла к оконной нише
С простертою к луне рукой,
И луч серебряной каймой
Обвил тебя в безмолвной тиши.

[239]

НОЧЬ

Я потушил свечу и мягко ночь
Вошла ко мне в открытое окно,
Позволив мне, обняв, и другом быть,
И братом заодно.

Мы оба ностальгически больны
И, ощущая грёз волшебных власть,
Мы шепчемся о старых временах
В отцовском доме всласть.

Уве Нольте
(род. 1969)

УГАСАЮЩИЙ ДЕНЬ

Поздно. Золото небес
Облака насквозь пронзает.
Разрывая листья в клочья,
Дует ветер, ночь пророча,
И в сухой степи вздыхает.

Вечер, срок твой, словно жизнь:
Путь отмерен, путь твой взвешен,
Робко дышит твоё пламя,
Луч угас и, словно в раме,
Лентой траурной завешен.

Неизбежно тает день,
Лишь воспоминанья будут,
Будто ветер, лист сметая,
Грёзы гнать сквозь сон, в нем тая,
Если ночь падет повсюду.

Леонид Бердичевский

Сидиш

Рейзл Цихлински
(1910 – 2001)

ПЕСНИ ИЗ МОЕГО ДОМА

*Памяти 3019 евреев моего родного Габина,
погибших в душегубках концлагеря Хелмно
в апреле 1942 года.*

* * *

Мне хочется вновь
пройтись по этой траве,
и рыдать на земле,
обращаясь
к небу и ветру,
что дует в лицо,
и всем напомнить о горе,
на клочке этой земли,
где раньше стоял мой дом,
с широко распахнутой дверью.
Но, увы, моя мама
не придёт сюда больше,
заснеженная, с голубым
бидоном молока в руке,
с добрым взглядом
своих голубых глаз.
И никогда уже в наши окна,

не будет солнце светить,
скача от стены к стене,
из угла в угол,
и моя зеленоглазая кошка
не будет дремать на скамье.

Только ивы, по-прежнему,
отразятся в пруду,
да слёзы мои упадут в воду,
нарушая её покой.

ПРИ ЛИСТОПАДЕ...

При листопаде осенний ливень,
время свою выбирает дорогу.
Время для тех,
гонимых по полю,
в кровь сбивших
дрожащие ноги.

Без крошки хлеба.
гонят евреев, –
три тысячи душ,
оставив им четверо суток.
Детей, идущих на смерть,
не жалея, –
худых, голодных,
раздетых, разутых.

От детских слёз
промокла осень.
Леса окрестные в кольца сжаты,
и листья, что падают вниз в хаосе, –
большие, немые,
не виноваты.

Небо глубокое, голубое
видит, как день убегает текущий,
видит коров, что мычат и воют,
и пастухов, картофель жующих.

С английского

Эдна Винцент Миллэй

(1892 – 1950)

* * *

Любовь! Ты, явно, задержалась где-то.
Уж ночь давно. Твои шаги слышны.
Идти навстречу – глупая примета,
Пусть на тебе и вправду нет вины.

Любовь! Тебя ждала я до рассвета.
Не спится мне. Твои шаги слышны.
Я у окна. Ты в длинный плащ одета.
Как будто бы заглядываешь в сны.

С польского

Тадеуш Ружевиц

(род. 1921 – 2014)

УЦЕЛЕВШИЙ

Всего-то мне двадцать четыре.
Я уцелел
от неминуемой гибели.

Как всё разделить поточнее:
людей и зверей,
ненависть и любовь,
друзей и врагов,
мрак и свет?

Звери убивают людей, –
я видел это,
фургоны с людскими телами.

Как всё разделить поточнее:
зло и добро,
правду и ложь,

смелость и трусость,
красоту и уродство?

Равно ценились зло и добро –
я видел их, –
добряков и злодеев.

Вечен мой поиск Учителя,
который стал бы мне слухом и речью,
всё назвал своими б именами,
и различил от света мрак?

Всего-то мне двадцать четыре.
Я уцелел
от неминуемой гибели.

С французского

Пьер Эмманюэль
(1916 – 1984)

ГРОБНИЦА ОРФЕЯ
(*воплъ сознания в пути*)

Где я,
куда меня уводит пенья страх?
Зимой я сломанную флейту потерял,
сверкающую сторонами, на ветру.
Она в ночи душе и зренью недоступна.

Вся комната насыщена моим дыханьем,
её пространство занимает запах смерти.
До самых губ судьба раскалывает тело,
тем, Господа клинком,
что время предложило.
Но тела теплота меня не защищает
пред спешкой смерти
мне ль не отрицать её.

Треск кожи пролетает даже площадь.
Через движенье жизни

смерть твоя проходит.
В расщелинах её полёт от звёзд, к планете.
Земля в прорехах,
но память сохраняет о голубизне.

Орфей! Твоя гробница в вечности ночной.
Как молчалива тишина кровавых облаков,
лишь слышен страшный вопль,
к прощению зовущий.

А разница с тобой сулит нам испытанье.

Давид Яновский

С немецкого

Фридрих Готлиб Клопшток

(1724 – 1803)

УЗЫ ИЗ РОЗ

В тени весенней я её нашёл
И узами из роз её связал:
Она дремала и не чувствовала их.

Я на неё взглянул; один лишь взгляд,
И жизнь мою с её связал он жизнью,
Я это чувствовал, пожалуй, но не знал.

Без слов я нежно что-то прошептал
И зашуршал я узами из роз.
И тут она очнулась ото сна.

Она увидела меня; один лишь взгляд,
И жизнь её с моей связал он жизнью,
И оказались оба мы в раю.

Иоганн Вольфганг Гёте

(1749 – 1832)

НОЧНАЯ ПЕСНЯ СТРАННИКА

Ты, кто с неба посылает
Всем болезням исцеленье,
Тем, кто здесь вдвойне страдает,
Шлёт двойное наслажденье,

Я устал брести с клюкою!
 Что мне радости, что боль мне?
 Дай покоя,
 Сладость сна вкусить позволь мне!

АВГУСТА ЛУИЗА ГРАФИНЯ ЦУ ШТОЛЬБЕРГ
 (1753—1835)

Всё даруют боги великие
 Своим любимцам сполна:
 И радости все великие,
 И горести все великие, сполна.

ИЗ ЦИКЛА «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ГОДА»

Что назову я святым? То, что многие души
 Свяжет, хотя бы непрочно, словно тростинка венков.

* * *

Все опадают цветы, чтоб сумели плоды появиться.
 Вместе цветы и плоды дают нам лишь музы одни.

* * *

Какой же читатель мне мил? Тот, кто, легко забывая,
 Мир и себя, и меня, только лишь в книге живёт.

** * *

Будь ты хоть трижды умён, толку от этого мало.
 Добропорядочным будь в совете и дома всегда.

* * *

Где нет ума у верхов, и нет у низов доброй воли,
 Правит насилие бал, им и кончается спор.

Никто не доволен вполне тем, чем владеет по праву,
 В этом причина одна всегда и везде для войны.

* * *

Редко так почему вкус уживается с гением?
 Силы боится один, узду презирает второй.

* * *

Падать – вот жребий людской, будь ученик ты иль мастер.
Падает редко знаток, но тем опасней удар.

* * *

Как в человеке природа может высокое с низким
Соединить? Между ними суетность ставит она.

* * *

Истинна та лишь любовь, что всегда остаётся собою,
Если ей всё отдадут, если откажут во всё.

Жить и любить мы должны, но жизнь и любовь умирают.
Парка, тебя я молю: сразу две нити обрежь!

Знаешь ли ты, что нам даст взаимной любви наслажденье?
Свяжет прекрасно тела и души освободит.

ИЗ ЦИКЛА «ПРЕДСКАЗАНИЯ БАКИСА»

Вижу, как падают стены, вижу, как стены возводят.
Пленников вижу я здесь, пленников вижу и там.
Мир наш – большая тюрьма, свободен в нём лишь сумасшедший,
Тот, кто оковы свои гордо считает венцом.

Иоганн Мартин Устери

(1763 – 1796)

ПЕСНЯ ДЛЯ КОМПАНИИ

Радуйтесь жизни,
Ведь времени мало,
Розу срывайте,
Пока не увяла.

Мы часто создаём себе заботы,
Шипы мы ищем и находим для чего-то;
Не замечаем мы прекрасную фиалку,
Что на пути у нас цветёт.

Радуйтесь жизни,
Ведь времени мало,
Розу срывайте,
Пока не увяла.

Когда наш путь вдруг станет узким и опасным,
Когда несчастья нас преследуют ужасно,
Тогда по-братски в этот час протянет дружба
Нам руку честную свою.

Радуйтесь жизни,
Ведь времени мало,
Розу срывайте,
Пока не увяла.

Осушит дружба слёзы нежными руками,
Она наш путь украсит яркими цветами,
Ночь превратить в рассвет она способна,
И превращает в день рассвет.

Радуйтесь жизни,
Ведь времени мало,
Розу срывайте,
Пока не увяла.

Юстинус Кернер (1786 – 1862)

Благо тебе, кто рука в руке
С любимой своей идёт.
Иду я один, но идёт со мной
То, что мне счастье даёт:

Это неба святая синь,
Цветы в алмазах росы,
Это звонкая трель соловья
В лесу в ночные часы.

Это облака медленный бег,
Вода, что, журча, течёт,

Это волнение моря ржи
И птицы лёгкий полёт.

Греет тебя аромат милых губ,
Рука любимой с тобой;
Я одинок, и свистит под плащом
Холодный ветер ночной.

Никто не встречается мне на пути,
Спит птица среди ветвей.
Я шагаю сквозь мрачную ночь
За светлой мечтой своей.

Генри фон Хойзелер
(1875 – 1928)

Два голоса беседуют в ночи,
Один сказал: пусти меня домой.
Другой ответил: дверь всегда открыта,
Потом лишь ветра тихий шум в ночи.

И снова шёпот слышится сквозь ночь,
Один сказал: ты будь всегда со мной,
Другой спросил: а разве ты не видишь?
К тебе на зов уже лечу сквозь ночь.

Ещё темнее стала ночь вокруг.
Кто мы с тобою? Души или свет?
И если я – душа, меня узнаешь.
А свет пройти поможет нам сквозь ночь.

В ночи тебя почувствую, найду я.
Меня ты звал, так не оставь меня.
И вот уже затихли голоса
И медленно растаяли в ночи.

Людвиг Уланд
(1787 – 1862)

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ

Мост, не обрушья! Хоть весь ты дрожишь.
Не рухни, скала, хоть паденьем грозишь.
Мир, не погибни! Не падай, небо!
Покуда я у любимой не был.

СЧАСТЛИВАЯ СМЕРТЬ

Умер я
От блаженства любви;
я похоронен
в её объятьях;
воскресну я
от её поцелуя;
небо я видел
в её глазах.

Эмануэль Гейбель
(1815 – 1884)

Тени потемнели,
Пламя звёзд зажглось,
И сквозь ночь дыханье
Страсти понеслось.

Сквозь моря мечтаний
Улетит, спеша,
За твоей душою
И моя душа.

Лишь тебе я предан,
Лишь тобой дышу.
Я себе отныне
Не принадлежу.

Теодор Шторм

(1817 – 1888)

Почему сильнеей левкой пахнут, лишь приходит ночь?
Почему краснеют губы милой лишь приходит ночь?
Почему желанье сердца не могу я превозмочь
Целовать без счёта губы, что так красны в эту ночь?

Макс Шнекенбургер

(1819 – 1849)

ВОЗЛЮБЛЕННОЙ

Зачем смотрю так долго
в лицо твоё порой
и глаз люблюсь бездной
небесно голубой?
Зачем хочу запомнить
я щёки, лоб и нос,
твой рот, его улыбку,
волну твоих волос? –

Чтоб, если от тебя я
далёко окажусь,
и если одолеют
меня печаль и грусть,
я сразу смог представить
прекрасный образ твой –
он вмиг тоску прогонит,
вернёт душе покой.

Теодор Фонтане

(1819 – 1898)

НАДГРОБНАЯ НАДПИСЬ
на кладбище аббатства Мельроз

Земля по земле шагает,
вся в золоте и шелках;

станет земля землёю,
сама не заметив как.

Земля на земле возводит
дворцов и замков гранит;
«Это моим всё будет» –
земля земле говорит.

Вильгельм Раабе
(1831– 1910)

Сломала буря в саду моём
Цветок, самый лучший на свете,
Лучшее слово в сердце моём
Брошено было на ветер.
Любовь, ты лгунья, ты дикий зверь!
Всё, что осталось в мире теперь, –
Это печаль и горе.

Райнер Мария Рильке
(1875 – 1926)

Господь, пора! Огромным было лето.
Спит тень Твоя на солнечных часах,
дай ветру погулять в полях, ещё нагретых.

Ещё два жарких дня, Господь, дай заодно
плодам последним, пусть они созреют;
и поспеши наполнить поскорее
последней сладостью тяжёлое вино.

Тот, кто бездомен, дома не построит.
Тот, кто один, весь век так будет жить,
всю ночь читать, вести дневник, блажить,
когда аллеи жёлтый лист покроет,
по ним без цели целый день бродить.

ОСЕНЬ

С неуловимым жестом отрицанья
всё падает и падает листва,
как будто в небесах сады увяли.

И падает сквозь ночь из звёздной дали
Тяжёлая земля, как булава.
Всё падает с момента сотворенья.
Моя рука. Твоя. И мы с тобой.

Но есть Один. Он мощною рукой
Удерживает нежно все паденья.

Паула фон Прерадович
(1887 - 1951)

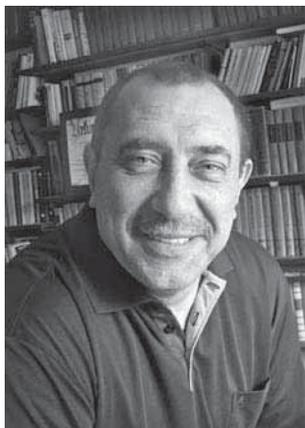
«Ты спишь уже?» – «Не сплю я, нет.
Уснуть мешают ветра звуки». –
«Ты хочешь пить? Зажечь мне свет?» –
«Ты только дай свои мне руки,

Прикосновенье рук родных
Несёт прохладу, радость, счастье.
Когда я ощущаю их,
Любое выдержу ненастье.

И, если смерть разлучит нас,
Легко мне нежно улыбнуться
Ей, если в мой последний час
Любимых рук смогу коснуться».

АВТОР НЕИЗВЕСТЕН

Цари Соломон и Давид большие грешники были,
Любили красивых женщин, кучу детей наплодили.
Потом они постарели, забыли свои увлечения,
И один написал Псалтырь, а другой написал Изречения.

In memoriam

Памяти
Михаила Верника
(14.12.1951 – 01.09.2013)

Глубока и непреходяща горечь утраты у тех, кто хоть сколько-нибудь знал и общался с этим Человеком.

Ушёл из жизни прозаик, Миша Верник. Он долго болел, борясь с тяжёлым недугом. Но до последнего дыхания не выпускал из рук перо. Его душа была полна сюжетами – замыслами новых книг. Он был предан литературе, предан еврейству, добр и отзывчив с друзьями и коллегами, никогда ни словом не обмолвился о ком-либо отрицательно, рад был помочь начинающим авторам.

Его рассказы возвращают нас в давно утраченный мир еврейского местечка, фиксируя то весёлые, то грустные моменты быта и образов генетически близких нам персонажей, их нелёгких судеб: улыбок и горестей, удач и разочарований. Его рассказы помимо серьёзных литературных находок несут в себе документ канувшей в Лету эпохи, напоминая о нашем родстве с ней.

Михаил Верник – автор многих книг, которые пользовались большим успехом у читателей, и не только здесь, в эмиграции, но и в странах бывшего Союза, в Израиле, в США, на страницах Internet-a.

Читатели нашего Альманаха тоже всегда с доброй улыбкой искали на страницах «До и после» Мишины рассказы, ожидая встречи с полюбившимися героями.

Мы глубоко скорбим по поводу этой невосполнимой утраты.
Дорогой Миша! Мы всегда будем Тебя помнить.

Коллектив Клуба литературы и искусства

Этот рассказ взят из одной из последних книг Михаила Верника «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ»

РЫЖИЕ ДЕТИ ЛИЛИТ

«Борис, а ты помнишь Лилит? Борис, а не было ли кого-нибудь до Адама? Твоя тоска по мне – тоска Адама по Лилит, до – первой и нечислящейся. (Отсюда моя ненависть к Еве!)»

**Из письма М.Цветаевой к Б.Пастернаку.
14 февраля 1925 г.**

Рыжих видно издалека. Их волосы и веснушки привлекают внимание. К ним относятся с интересом и осторожностью. Возможно, им завидуют, и не хотят в этом признаваться, над ними смеются и дают различные прозвища. Рыжие мальчики и девочки огрызаются и мстят, но их мало и им не хватает поддержки. Поэтому они растут дикими волчатами. Став взрослыми, при намёке на их рыжую внешность остервенело лезут в драку и силой заставляют уважать их. Женщинам сложнее. Они, не владея силой, используют хитрость, уничтожая противников, доводя их до сумасшествия.

Я слышал когда-то легенду о том, что первой женой Адама была не Ева, а рыжеволосая Лилит. Она была гордой, властной и не подчинялась ни Адаму, ни самому Создателю. За свой нрав была наказана, и её место в раю заняла Ева. Была ли она рыжей? Я этого не знаю. Но всё это легенда, достаточно грустная. Как было на самом деле? Не знаю. Знаю лишь, что потомки Лилит, особенно женщины, всегда отличаются от других.

Вот история о двух рыжих.

О ней, как о любой женщине, можно говорить много. Неотразимой её делали прозрачные глаза с виноградной косточкой зрачка, нестерпимо яркие губы и тяжёлая медно-рыжая грива, падающая на плечи, придающая ей сходство с хищницей. Быстрая в движениях и острая на язык, она представляла опасность. Её боялись и любили. Звали её Яна. Мужчины, как бабочки, летели на неё. Потом долго, с наслаждением вспоминали о ней, и не могли жить в мире со своими жёнами.

Его звали Яник. Весёлый, добрый, рыжеволосый, – таким был Яник. Был он тем мужчиной, от которого женщины не падали в обморок, но и устоять перед ним было им трудно. Его рыжая копна пружинилась завитками, а веснушки ползли с бледного лица на губы. Женские мотыльки летели на этот рыжий костёр, чтобы сгореть в его нежном пламени.

Однажды Яник был приглашён на небольшое торжество. Как и подобает рыжим, он ворвался и сразу стал героем вечера. Ян задевал всех, но на него не обижались. Он смеялся и заставлял веселиться всех. Его любили и он об этом знал. Как появилась Яна, он не видел, но мгновенная тишина заставила его повернуться в сторону двери. Она вошла и заполнила собою всю комнату. Ян был поражён и не мог произнести ни единого слова. Их глаза встретились, изучая друг друга. Двое рыжих на одной территории – это угрожало плохим окончанием. Она прошла мимо, всячески показывая, что не замечает его. Вечер продолжался. Ян крутился по комнате, делая вид, что веселится, но с каждым шагом приближался к ней. Он остановился за её спиной, ища повод, чтоб привлечь её внимание...

– Я не люблю, когда стоят у меня за спиной и дышат в затылок, – громко произнесла Яна и оглянулась. Она хотела что-то добавить, и на мгновение их глаза вновь встретились.

Вечер ещё был в разгаре, когда Ян подошёл и протянул ей руку. Они шли по ночной улице. И им казалось, что счастье шагает рядом.

Сперва они встречались раз в неделю, затем чаще и, наконец, ежедневно.

Ян знал, что день, которого он так ждал, наступит рано или поздно, но он боялся его. Он думал, что когда Яна станет для него доступной, что-то может измениться в их отношениях. Ещё он знал, что такие женщины просто так никому не достаются.

Прощальные поцелуи томили женское любопытство Яны. И она пригласила его к себе в гости.

Встретила его в коротком красном платье. Волосы её блестели и переливались цветами радуги. От лица исходила страсть. Она смотрела на Яна глазами, губами, всей своей рыжей прелестью. Он был ошьянён ароматом весеннего цветения, красотой и призывной улыбкой Яны. Он был восхищён этим рыжим чудом. Сможет ли он стать тем мужчиной, которого она ждала? Ему хотелось её познать, но познание могло разрушить то таинство, к которому его влекло в ней. Ян не боялся женщин, но сейчас было всё иначе. Этот вечер запрашивал за себя слишком высокую цену. Тишины стало больше, чем они смогли выдержать. Ян ушёл. Он бродил по улицам. Как случилось, что он ввя-

зался в случайную драку, он не помнил. Ведь мог пройти мимо, но не прошёл. Судьба распорядилась по-своему. Всё было, как во сне. Драка, кровь, боль. Быстрый суд и два года тюрьмы. На этом сон закончился.

Первое время он старался не думать о ней, но тогда жизнь в тюрьме становилась невыносимее. Он обвинял её, но становилось ещё хуже. Нет её вины. Она не может нести вину за происшедшее, за то, что произошло. Он стал жить мечтой возвращения к ней. Она являлась к нему во сне, в ночных беседах. Он ощущал прикосновение её рыжих волос, и губы без конца произносили её имя.

Освободили его раньше положенного срока. Поезд пришёл без опоздания, Ян вышел на перрон.

А что Яна? Неудачный вечер оставил саднящее чувство вины и обиды. Не могла понять. Почему он ушёл, оставил её одну. Вернётся. Если любит, вернётся, успокаивала себя. Но дни летели, проваливаясь в недели, месяцы. Он не приходил. Значит, не любит, ну, и чёрт с ним, резюмировала она. Но забыть его оказалось не просто. Она ловила себя на том, что думает о нём всё чаще. Неудачный роман с неудачным героем? Почему же сейчас так нехорошо и стыдно?

Яна стала расспрашивать у знакомых о Яне, но никто толком не знал, где он. Кто-то говорил, что он уехал, кто-то, что он в тюрьме. Все ответы смешались в голове Яны. Ничего, придёт, на коленях будет просить прощения.

Она продолжала ждать. Время летело, но Ян не появлялся.

Ухажёры возникали и исчезали. Иногда она по ошибке называла их Яном, вызывая удивление.

Однажды на улице она почувствовала чей-то взгляд и оглянулась. Но её окружал мир чёрно-белых или ненастоящих рыжих. Она вскрикнула...

Яна стала его искать. Она узнала, что он осуждён за драку и была уверена, что это недоразумение. Её Ян не мог так поступить. Он не такой. Он самый лучший в мире.

Яна собралась в дорогу. Она ехала к нему на свидание, просить прощения за тот вечер, за потерянное время,

признаться ему в любви. Но на свидание вместо Яна вышел военный, сообщив, что сожалеет, но Яна утром отправили в другое место.

Яна не заплакала. Она почувствовала, что мир вокруг неё снова стал чёрно-белым и скучным.

Она возвращалась домой, понимая, что теперь её ждёт другая жизнь. Во сне Яна видела их первую встречу и, проснувшись, смотрела в окно. Она знала, чувствовала, что он тоже не спит, думая о ней.

Однажды она получила письмо от человека, который сидел с

Яном в одной камере. Человек сообщал, что Ян пишет ей ежедневно письма, но не отправляет их. Он боится, что забыт, и не хочет беспокоить. Вечерами, он читает их вслух, добавляя, какие у неё красивые рыжие волосы и зелёные глаза. И что такие красавицы не должны ждать. Мужчины ждут таких всю жизнь. Ждать – это большое счастье. С мыслью об этом счастье и живёт Ян. Я завидую ему.

Слёзы не мешали Яне по несколько раз перечитывать это письмо, строки которого подтверждали любовь Яна.

...На этом я бы и закончил рассказ, ибо не знаю, почему Ян так и не отправил ни единого письма. Не знаю, ответила бы Яна на его письма. Я действительно этого не знаю. Может быть, у рыжих всё иначе. И они живут не так, как все остальные. Почему же тогда я люблю себя на том, что люблю свою героиню? Мне хочется прикоснуться к её рыжим волосам и пунцовым губам. Но она ждёт не меня, а Яна. И если я не помогу им, то они никогда не встретятся.

Я напишу ей: «Дорогая Яна! Мы с вами незнакомы, хотя я знаю о вас многое. Даже сейчас, когда вы читаете эти строки, я вижу ваши глаза и шевеление ваших губ. Я вижу, как вы встаёте. Одеваетесь и идёте к двери... Куда вы направилась? Неужели к нему? Но ведь я не успел сообщить вам, где он. Вы спешите к такси и едете на вокзал. Зачем? Почему?»

Она действительно не знала, почему. И не хотела об этом думать. Сердце её стучало: «на вокзал», и она помчалась. Выбежав на перрон, она остановилась. Людей было много. Но все они были чёрно-белыми либо крашеными. Она искала его. Люди расползались, как муравьи. Их становилось всё меньше. Перрон опустел. Яна не уходила. Пустой поезд тронулся, и Яна увидела, как из последнего вагона выпрыгнул мужчина.

Эти вихры могли принадлежать только ему, Яна это знала. Она не побежала ему навстречу, хотя чувствовала, что бежит. Ян шёл навстречу твёрдым ровным шагом, он видел только её, и только ей многое хотел сказать...

Если быть объективным, признаюсь, что не знаю о чём они говорили. Я стоял далеко и не слышал этого. Но я видел, как он взял её лицо в свои ладони... Увы, я не видел, что было дальше, кто-то случайно встал между нами. Наверно, вмешалась судьба.

Давайте оставим их в покое и ненадолго закроем книгу. Ведь они рыжие и у них всё иначе.

Я НИКОГДА НЕ ЖИЛ В МЕСТЕЧКЕ...

*«И, хлещя по коням,
уж не спеть никогда
балагуле.»*

Наум Коржавин

Из книг Верника я узнал, что на Украине, под Одессой, есть старинное местечко Большие пейсы.

Услыхав о столь диковинном названии, я захотел немедленно туда отправиться. Но Михаил меня предупредил, что путь в это благоденственное местечко будет не из лёгких.

Сначала нужно добраться до Малых пейс, потом свернуть к реке Синюха, затем взять курс на Южный Буг. За Южным Бугом расположен городок Богополь, а там уже рукой подать до Голты. Минуя Голту, нужно резко повернуть. Не важно: влево или вправо. Главное, поворот не прозевать. За поворотом, в нескольких верстах, прячется местечко Ольвиаполь. Проехав чуть вперед (а можно и назад, принципиальной роли не играет), вы, наконец, торжественно въезжаете в Большие пейсы... Согласитесь, тот еще маршрутец! Но он того стоит.

Какие люди прославили Большие пейсы! Первым делом, конечно, Мойше Шнорер, потом прокурор Дудэк, затем легендарные Авраша и Аврум. А плотник Семен, неутомимый труженик и большой умелец постельно-трудового фронта. И, уж коли мы коснулись этой важной темы, то читателям мужского пола я бы посоветовал первый свой визит нанести никейве Фане, обладающей не только добрым сердцем, но и многими другими эротическими прелестями.

Чего стоит одна невероятная история о Фишеле Бен-Гуре, который выкупил у цыгана-пройдохи Ёлда старую-престарую кобылу, назвал её Цветочком, и та, в благодарность новому хозяину, взвилась от радости и полетела над землей...

Но, стоп. Здесь я вынужден прерваться. Иначе меня, как и Цветочка, понесет в заоблачные дали, и я уже не смогу остановиться. А рассказывать, как Верник, я не умею.

...Я часто размышляю о загадке верниковских текстов, о таинстве живого языка его героев.

Попробуй повторить этот язык, получится фальшивая подделка.

Даже легендарный полиглот кардинал Джузеппе Меццофанти, знавший 115 языков, никогда не научился бы свободно говорить на языке Больших и Малых пейсов. Ибо их язык подвластен только тем, кого Всевышний благословил родиться на Земле, называемой МЕСТЕЧКОМ.

Герои книг Верника – веселая компания остроумных, разбитных, рассудительных и бесшабашных, мудрых и наивных простаков, смешных и грустных, порой с трагическими судьбами, людей.

Да и сам писатель – не посторонний наблюдатель, а один из персонажей книг. Вернее, не один из них, а главный. «Мистификатор и придумщик. Свой в доску» малый, балагур, простака, мудрец, хитрец, «ходок» и пуританин, весельчак с печальными еврейскими глазами.

В одном из самых ностальгически пронзительных рассказов автор вспоминает, как, будучи взрослым человеком и, живя в Одессе, часто приезжал в местечко навестить бабушку и дедушку – Перл и Шому:

Взволнованная встречей, Перл подошла ко мне и протянула свои золотые руки. Я наклонился. Ведь я тогда был уже взрослым. Перл целовала меня, а её глаза были полны слёз. Ну почему, почему в нашей семье все плачут, когда им хорошо? Ну почему?

Верник поставил точку на своей последней странице. Осиротели его герои.

А я, закрывая последнюю страницу, стыдливо утираю слезы? Наверное, по той же самой уважительной причине, которую назвал писатель.

Я никогда не жил в местечке. Не довелось. Всевышний несправедливо обделил меня. Но теперь я твердо знаю, что если бы сегодня мне пришлось определяться с местом жительства, я попросился бы на ПМЖ в Большие пейсы.

Спасибо Вернику, который указал мне этот адрес.

Александр Бизяк



Содержание

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Елена Зельгер	6
Константин Кербель	11
Давид Яновский	16
Генриетта Ляховицкая	20
Леонид Бердичевский	28
Анжелла Подольская	36
Бронислава Фурманова	49
Леонид Немировский	55
Феликс Фельдман	59
Валерий Матэтский	65
Вера Фёдорова	70
Яков Раскин	75
Альберт Леин	85
Елена Колтунова	90
Олег Никогосян	95
Марина Авербух	100
Татьяна Устинская	112
Станислав Львович	115
Галина Фирсова	130
Борис Альтшулер	136
Давид Братславер	148
Нора Гайдукова	151
Виктория Пышная	158
Игорь Коган	162
Василий Левин	171
Вениамин Палагашвили	173

Елена Ямова	177
Людмила Тайц	182

ПУБЛИЦИСТИКА.
МЕМУАРЫ. ЭССЕ

Карл Абрагам	184
Мина Полянская	192
Леонид Бердичевский	202
Светлана Сокольская	209
Белла Якубова	217
Наум Файзель	221
Сергей Пышный	225

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

Валерий Матэтский	230
Феликс Фельдман	236
Леонид Бердичевский	240
Давид Яновский	245

IN MEMORIAM

Михаил Верник	254
---------------	-----

